

ВАДИМ КОЗОВОЙ

ПРОЧЬ ОТ ХОЛМА

«СИНТАКСИС»



ВАДИМ КОЗОВОЙ

ПРОЧЬ ОТ ХОЛМА

«СИНТАКСИС»

ПАРИЖ

**Рисунки Анри Мишо
выполнены
специально для этого издания**

© «Syntaxis» 1982

**8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE**

И видит: сквозь ночной туман
Вдали чернеет холм огромный...

А. Пушкин

На московский вопрос: како веруеши? —
каждый отвечает независимо от соседа.

В. Хлебников



Это не сказка. Это не присказка на беспмятный день. Это, как всякий сон наяву, в нас обрушено теми, кто слушает на ветру и оглядывается со всех сторон во все стороны. Пирамиду соорудили писцы! Их чрево вещателю мы не ответчики. Ей же, присвоившей кочевой горизонт, мы скажем: "Ни с места! Прощай навсегда!"

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ

Серы глаза волчи
не спят под копытом плачевно
сегодня встану ночью
и начерно запишу

как злобно глаза сычи
в плачевные смотрят волчи
которой вот уже ночью
содрав шкуру сверлят

сегодня пропади сон с глаз
ночью мохны из шкурной
встану тебе проклятье
сычье сверло

волчьим поводя глазом
не спать эй дави копыто
тебе сычье отродье
начерно запишу.

ГОЛОС

Мне слышен был Голос. О чем он был, сказать мучительно и выговорить не под силу. Но он явно имел строение человеческого тела, будучи: ногами — плотен и вытянут, в бедрах — крут, в талии — сжат до полной винтообразности; и зыбко волнуемый моревидной грудью, возносил на плечах шишковато-жесткое завихрение головы. Однако странность крылась не в том. Его волосы, скорее женственные, а мгновениями и вовсе женские, летели к дальней потолочной балке сплошным торчащим потоком, как если бы набегавший со всех сторон ветер не позволял им — ни прядью, ни даже скудной былинкой — отлежаться в заслуженной передышке. Оно стояло так близко, что ощущалось произрастающим из моего члена: сместившаяся пуповина, гиблая и непреклонная в истаявшем воздухе, который казался глуше самой исчерпывающей ночи. Он еще слышался, холодея, Голос, под нависшей в дальнем сумраке балкой, но туда мой слух не проникал отнюдь, и это тело, растягиваясь, как бычья струна, хранило, однако, с упрямством, без выгиба, подобно всему, что рождается вдруг, свои отвесно-внятные очертания. Коснувшись балки полусознанием, я встретил тупой шлепающий удар, точно собственный череп, возникнув по сходству, произвольно, напомнил мне о присутствии — сверху, но все же рядом или, быть может, кругом — бесфор-

менной и лежачей, овеществленной испокон тишины. Но я не нуждался в напоминании. Я еще видел этот пропащий человечески-стройный непуганный Голос, я гладил его как умел, до волос, всей слезной надсадой глазного бессилия, но в ушах у меня ничто — больше *ничто* не могло затмить балочной и грозоподобной, влекущей его, как удав, тишины.

ТЫ ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

На ветру, под окном — кусок сине-белой пятнастой твари. Ткань. Никакой фамильярности. В мире.

Кухня; выкуренных и брошенных. Дневное на час сгорев: метроном в мозгу, но сердце выпало. Вечность.

За стеной — гудеж, а стрекочет кто. Глядь. Слово — между: торчком и в синее с белым. Вместе молчим. Прожито.

Ушел в Африку, тысяч верст отгуляв, чтобы из пустынь — ни с места. На! Твой костыль. Он тут бродит.

Постоим, глаза: передышка, узоры. Скоро бросишься; невтерпеж, стол, и только к равным. Надежда.

Но с последней твоей гнильцой; в тебя купорос, а блещет. Чьих разъедено? чьих — разве не звезд? Пусть мерещится: черви!

Да, пусть думается, пусть мерещится: их свора, им гнаться. Ну, а нам — промолчать; нам, плечи, с тобой — рваные горы. Тут от печки они. И кому-либо за облаками.

ХОЛМ

И разрешили им убивать каждого, кто дотронется до холма. Но никто не подходил близко.

Все же надо было кого-то убить. Тогда один из них, плоскокрылый, которого называли *солнце*, потому что был одноглаз и сиял этот глаз невольным алмазом, явился к собравшейся публике и попросил себя растерзать, ибо с рассвета до сумерек гладил холм своим солнцевидным лучом.

Главные, посовещавшись, не пришли к результату и бросили жребий. Если не плоскокрылого, то одного из толпы: который ближе других к холму.

Гадали долго и, клоня к земле головы-каска, пытались разглядеть в траве убежавшую от света монету.

Разглядеть было нелегко вовсе, ибо не только их головы породили множественное затмение, но трехглазые каски в наклоне сместились: нос, губы и брови упирались, как водится, в темноту.

Так, впрочем, только именовались. На самом же деле эти три составных части лица служили ответвлением чистейшего вымысла; но как вымысел, так и его потворщик отсиживались за холмом. Вымысел был чист; потворщик — не очень.

Однако, нащупав концами пальцев монету во мраке, кто-то проткнул ее и вынес на свет со-

бравшейся публики. Пришлось звать оракула.

Слепой, он был неразличимо строен и во тьме — величав: не страшился чужого взгляда. Скрывать ему было нечего, ибо породы собравшихся он не знал. Будь то дубы, пни или ястребы, он мог каждому оказаться ровней.

Следовательно, сошлись двое: естественный в ночи законодатель равноправия и горделивец в силу алмазно-светящего естества. Их противостояние бросалось в глаза вертикально. Прочих оракул, как говорится, не ведал. Горделивец был обречен, но таким образом и увенчан.

За всем стоял холм. Этот не имел дела ни со вторым, ни с первым; он относился к публике, а значит, к главным. Но ни снисхождения, ни восторга: имел простейшее горизонтальное отношение.

Выход плоскокрылого был непредусмотрен. Вымысел тут не при чем. Отсидживаясь за холмом, он не понимал ни его, ни оракула. И потворщик, ликом — гиена, был, как эта последняя, лишен всякого образа, кроме недоумения.

Появилась, стало быть, сцена. Белогрудая, с торчащим морем, напоминала Афины. И когда оба, слепец и горделивец, действительно сошлись, произошел разряд среди публики, которая собралась, чтобы совещаться, но бросилась бессловесно, следом за главными, к холму.

Главные шли позади. Выступили, как должно, первыми, но каски оказались сдвинуты, и взгляд их обратился внутрь. Они размышляли с натугой и непривычкой, покамест все прочие бежали к холму, готовые дотронуться — и на растерзание.

Когда бежали, пыль не оседала, но монета висела в центре: черный и ясный каждому просвечивающий жребий.

Холм стоял, поблескивая копьевидной вершиной, которая относилась к вымыслу как X к n^{10} . Однако и копьевидная, вершина холма должна была увенчиваться шишаком. Поэтому вышло непредусмотренное.

Оно вышло, направляясь к северу, туда, где блеск холма подмораживало и только одинокие льдины, сродни двум когда-то сошедшимся слепоглазым, вспоминали о сцене, об афиноподобной, и о множественном затмении, которое породил высочайший запрет.

ТИТ и ХВА

господа без лести

когда ударят первые морозы

замуруй окно

стереги ли в щелку

ТЩЕТНО! ТЩЕТНО!

ВОТ так холода

экие без лести

б
е
з

с
т
ы
д
а

нет так нет

а

да так да

карр-ты-на-стол-

и

ХВАТИТ ГОСПОДА!

в ы т а щ а т ч е р в о н н о г о т у з а

СПЕШНО ТРЕБУЕТСЯ КОНЕЦ

Он глотает меня. Но я пожираю его внутренности и выхожу наружу, закаленный вдвое. Спешу дальше, но не успею сделать и шага, он снова меня глотает, однако, будучи лишен внутренностей, не в состоянии переваривать, и я пожираю их жалкие, обжигаяще-лижущие остатки, которые еще остаются и всегда останутся, — пожираю проворно, чтобы, закалившись втрое, опять подальше выйти наружу.

Это единоборство больше похоже на порочно-заученный ритуал, не имеющий (впрочем, кто знает...) конца, хотя и хранящий (возможно, лишь с виду) какие-то бледноватые следы начала. Что можно по ним угадать? Свет? Слово? Что было в начале? Но я не помню себя ни светящимся вдалеке маяком, ни вулканическим извергателем смысла. Зато его я знаю от века: механического, как на арене шпагоглотатель, дракона, засасывающего меня сплошь, вплоть до бледных истоков, в которых я не различаю ни далековатой зарницы, ни какой-либо внемлемой глубины. Но делать нечего; теперь я вырос, пускай и не помню даже минутной давности. Я достиг наконец той неприкрытой точки, когда стал для него добычей единственной, вожделенной и безысходной, хотя и пожирающей неотвратимо его пышущее нутром естество. Так, значит, нужно. Кому? Как сказать... Хрустят под зубами жаркие внутренности, по-

хрустывают, как хворост костра, их остатки, и я выхожу, проворный, наружу, снова дальше, вечно впервой: выхожу закаленный впятеро, вшестеро... выхожу, словосветлый, искать конца, спеша к напрасным неразличимым истокам, которых не было и не будет, которых не возвращу никогда.

РАССТАВАЛЬНОЕ

Все было едино в этом месте встреч. Потом распалось на мmmm... кусочков. Ноет. Один зуб сладострастен, но другие не подвывают. Испачкал корягами руку в помощь другу. Раскокал коленную чашечку в сервизе-многоножке. Не гнется. Тыкал. Вилка, однако забыла о съедобном целом. Слово цеплялось за каждую ветку, а птица в печали уставилась с верхушки и, о своем думая, не думала подпевать. Встретились, затем расстались, чтобы, повстречавшись, опять расстаться, не узнавая самих себя. Стали другими. Но среди других места были заняты. Не осталось никого. Ночные отдельные фразы. Как поезда из центральной узловой точки и всегда не по расписанию. Да и сама-то: где она, точка?

Колечко, ты обнимало палец — вдвоем; но съел тебя умывальник, и палец вдогонку недоумевают. Катышек жизни, такой железный, такой золотой, а достаточно было щелчка, и бесконечная круговая жизнь оказалась дутым манекеном, который рухнул, не сопротивляясь, в распахнутую могилу. Трудно поверить. Но необходимо. Трудно — поблескиваешь перед глазами. Он видит, палец. Он не может забыть. И его недоумение только растет.

Вокруг — полынь. Она тоже пропахла. Вся до кончиков, но по-разному. Один ищет перепелку, другому требуется кабанье рыло, третий ничего

не ищет, не озирается, четвертый злится, лезет куда попало, пятый... нет, каждый прячется от солнца. И какой нюх! Ну, и прекрасно, ну, пусть бы хоть в норке... Нет же, всякий тычется в собственную темноту. Свою, конечную. И поэтому темное не вовсе темно, а с явной примесью сумеречности. Двоится, троится, множится. Вряд ли. Хотелось бы, чтобы ночь как ночь, но сомнительно. Никакой горечи. Так себе. И полынь прячется, стало быть, от самой себя.

А снаружи что? Груды горцев. Уж эти, казалось бы... но не верь: полегли напрасно. Пустое дело. Сто минометов против тридцати тысяч сабель. Как соединить? Не укладывается. Уложены грудами, но не укладывается в мозгу. Сражались вместе, да канули в прошлом. Прошедшее же время дробно. Теперь их считают на тысячи, и каждая тысяча приплюсовывается отдельно. Вечен лишь знаменатель. Не смейся. Последний не смеялся и смеяться не будет. Он воцарился; но возвышаясь над грудами, ему не до смеха. Нет, какое там, он не в себе: весь — в ненавидящих. А ненависти, пускай по одной — не на тысячи, на миллионы. Он не хочет знать. Но догадывается. Задним умом силен, но в переднем крепости мало. Так, жидковат. И растекаясь в подпочвенных мыслях, тоже прячется от себя.

Продолжим, следовательно, разговор. Значит, то есть, так далее. Нет, простаиваем на станции. Но ни перрона, ни чемоданов с тюками. Голо. Разъезд. Ковыли. Не предлагают ни абрикосов, ни даже яблок. Линия, говорят, занята: должен пройти грузовой состав. В другую сторону. Все-

гда он, с грузом, в обратную. А разговор топчется на месте. Насыпь, насыпь и насыпь.

Да, но что же распалось? Начнем по-иному. Как связать заново? Нужно? Не лишнее ли? Я искал в мире отправную точку. Но мир, как ему это свойственно, то и дело загонял в угол. Еще полбеды. Но в каждом углу завязывался новый узел. Там, сям, вразнобой. Не успеешь распутать один, только встряхнешь — снова гонит, и барахло остается, валяется. Всюду усеяно. Как навоз. Точно лошадь прошла. Нет, завязываться-то завязывается, но нет такого, чтобы взвалить на плечи и, крикнув, сбросить в порожнем тамбуре. Чтобы передохнуть — и поехали. Проводница довольна: больше всего на свете она не выносит этих, с громоздкой кладью. Ей-то что... облегчение. Но мое удовольствие невелико; прямо сказать — ничтожное.

Почему-то в голову лезут поезда. Что тут сравнивать? Жизнь по рельсам не катится. Даже если смазаны маслом. Есть такое: объездчики знают. По маслу идет только написанное, что, впрочем, надо думать, не так уж мало. Но замечено издавна, что язык, будь он хоть трижды записан, заводит в такие дебри... я и сам не пойму, как выбраться. А ведь темнеет, еще пять-шесть минут, и с тоски потянет на водопой. Там хоть закат виднеется и всевозможные звери располагаются по соседству. Не так одиноко. Но не побеседуешь, язык отсохнет, когда на берегу разглядишь всех этих чудовищ. И с ними-то пить из одной воды! Ну хорошо, наконец притихнешь. Ладно, и то. Но стоит услышать хрюканье хобота,

лязг крокодила... нет, не спеши, еще раздастся и бронтозаврово... да ископаемое, из-под земли... такое извечное!.. Стоп. Ведь она-то, вечность, страшнее всего. Преподобие. Заплечных дел мастера. Сразу заговоришь! Нет, пить — пожалуйста, но лучше из разных источников.

Струйки же наблюдать можно и, больше того, полезно. Лежали в травке два голубка, уже пресытись, уже ничего не надо, но, считая пробежавшие струйки, как-то живоительно встряхивались, крылышки расправляли и клювиками друг дружку поклевывали. Не всякое, значит, время убийственно; иное струится в крови, циклически и кругообразно. Что-то в нем приливает, растет взамен убывающего. И голубки снова готовы любить. Но с оговоркой. Пустяк, а нешуточен. Для китайца все белые — на одно лицо; китайцы для белого — и того пуще. Это вот время кровь разгоняет; другое же — ее высасывает. Высасывает, не торопится: велик он, комар, и свое возьмет. Так что и ты — взгляни-ка получше, не торопясь: голубки не те, да и травка другая. Время прошло, и время пришло. Любую былинку, не то что голубя, необходимо разглядывать порознь. Ошибка ведь может выйти ужасная. Выйдет — пойдет гулять и косить чем попало. Нет, друзья, начинать надо было с другого конца. Давно следовало, в кои веки... но поздновато. Голубки, если любите, то поймете! Счет ваш — нескитанный: который струйками.

Но оставим работу бухгалтерам. Арифмометр — он свое дело знает. Ну и пусть крутится. А я не хочу — довольно! — копеечной меры. Однако

тоже кручу-винчу. Сегодня — винт, и завтра — винт, но буду ввинчивать за совесть и страх: щепотки, щепки летят, что поделать, — не лес рублю, а винчу свое кровное. Пусть же крутится; арифметика тут не при чем. Щепки, щепотки — до бесконечности, а сердцу — покончить бы, хоть псу под хвост. Одно требуется — ввинчивать, чтобы тронуло и трянуло кость: она-то, может, ответит? Врешь! Молчит и в земле.

... Липнет, тычется, липнет. Ну, слезу пустил, ну, подкатывает... Кстати, о трупах. Подвязана челюсть, и все в порядке. Но растворение — как оно держится в воздухе! Нельзя ли без повязки? Летом, жарыща адова, а вокруг посмотрел — холмы и холмы, даже кудерь зеленая, даже облачное: всюду холмы! Все — могильные, но свежи, веселы: ждут здешнего, сей же час, растворения. Так нельзя ли так раствориться, чтобы... нет, невозможно; даже слиться не позволяют; щепотка, щепка, а держит... куда уж тут растворение! Жди повязки. Подкатывает комком. Этот — цел, колобок. Он-то катится, зигзагами по миру, из угла в угол, от гор до морей... кто-то гонит, и он не воротится, если все мы не встретимся — нет так нет! — в назначенном месте встреч. Но зачем? Нет, пусть катится, пускай не вернется... он-то, комочек, знает: мы встретились раз навсегда.

Н
И
К
О
М
У

никакого дела

ЗАМОЛЧИШЬ ЛИ ТЫ НАКОНЕЦ?

та-та да ля-ля

ну кому чета?

ни читателя

ни друга с подругой

ни соумышленника

НИ ЧЕРТА

кроме глупой бумаги и глухой кругом пустотыни

зачем водить?

и зачем выводить?

бешенство для чего?

утюгом что ли сглаживай?

да, если нет, значит — НЕЗАЧЕМ

если крохи

НИ

тени РАДОСТИ

жизнь в сущности прожита

МОГУ оглянуться назад и ВСЕ что было увидеть

все что

БЫЛО?

но ни кола

не вижу ни точки
где там двора
стало быть:

НЕЗАЧЕМ

лезть из кожи вон
бегать по строчкам
чужим своим вечным
вслушиваться
рыскать
строить
лезть на стену
куда?

ОГЛЯДКА

написанному счет копейка
ни единого отклика
ни слезы ни привета
ни печатни чтобы на помойку
гниет
провались оно!
или еще временить?
да нет, говорильня, уже провалилось, вот и ТАРТАРАРЫ

*(И ты, проклятая лживая
точка! Провались и ты!)*

13 марта 1977

ВОТ!

Нет сна
тупота
хододна весенняя
как стена
как ответь отец:
ты тоже вышел из той кубышки
минутной спермой посеребрённый?
так зачем она в океане
одна
перевесит что ли слеза без дна
без обмана
нет без дураков —
на!
возвратись отец
возврати
верни Хозяину
мой десятикопеечный долг.

ЗРИМАЯ ЖИЗНЬ

Я видел Таракана. Он был велик и проворен, но, занимая сердцевину и все закоулки моего взгляда, лишен был всякой возможности передвижения.

Я зажег свет, ибо нервы пылали — увидеть, как живительно разбегаются меньшие его братья, но взгляд был исполнен Тараканьего ужаса, и Тараканья чернота затопляла его без остатка.

Тогда я стал вглядываться в Тараканью ночь и, неостывающий, холодно понял, что была ночь как ночь: огромная и стоячая, хотя проворная и готовая наутек.

Однако теперь и в этой стоячести шевелилось нечто и пузырило ко дну от жгучей опасности. Присмотревшись внимательней, я убедился, что были здесь меньшие сородичи великого Тараканьего Брата, которых страшил огонь моего пристального усилия, и что в этом Тараканьем мраке еще оставалось какое-то место для веяния пугливой жизни.

Погасив лампу, я оставался слепым, как прежде, везде в глазном яблоке торчал Таракан, но под возросшей натугой зрения тараканы малые и незначительные проваливались в небытие с удесyтеренной скоростью.

И надавив с яростью на это яблоко зла, я наконец изгнал черномазого океанского Таракана, чтобы меньшие его собратья, в виде быстрых

ослепительных искр, порхали беспрепятственно в
распахнутые щелины боли, разбегаясь в моем
зрячем теле лихорадочными оравами бесшумно-
свободной мировой жизни.

НА РАССВЕТЕ

Я в степи. Вокруг — три пулеметчика. Дула направлены на меня, но тем самым и друг на друга. Бросаюсь к одному — не отвечает, к другому — полег, бегу к третьему — простыли следы. Как бы друг дружку не перестрелять. Холод в степи. Дрожу. Одиноко. Хотел было с дулами поговорить, но и те — без огня. А на горизонте собака ноет: серая псина, дело к рассвету, но солнце выпало; рановато, однако знаю наверняка, наперед... осталась дыра, а в дыре стала будка; голосит серятина, не унимается. Будка-то заперта, но стены — стеклянные; и вместо солнца — тусклая шерсть. Нет, слишком долго ждать: возьму пулемет, один и другой, третий занят, ну, хватит двух, — эх, полоснуть! Пустое... стекло как жесть. С визгом, а не поддается. И собака еще поддает, надывается.

... Пока не пришли за мной с перевязками и с носилками. Вынесли за горизонт: обернулся — сгорел он, пес. Значит, выглянуло. Сгорели оба — и пес, и будка. Но мне-то без пользы: кукольный. Перевязанный-кукольный, и несут с темнотой в следующую степь, от горизонта к другому. А солнце, даже не дали взглянуть, так и лопнуло позади. Бросили. Снова ждать, и опять пулеметчики. Трое. Как же, поговоришь с ними — с дулами! Но делать нечего. Надо! Бросаюсь. Только бы не проклятая псина. Однако... Да, будка на месте, и

я не спешу; довольно! скоро придут-понесут. Но воеет, ноет, не унимается; нет, не могу. Беру пулемет, один и другой... Пустое! С визгом стекло. И так бесконечно, пока несут, пока не засну совсем. На каком горизонте? Бог весть. Но знаю: засну без остатка и выгорю до конца. Я сгорю на рассвете.

ОСТАЕТСЯ

Моя сосна пусть с твоей горой рядом
обрезаны крылья и головой не вертит
без ресниц прозрачна невидаль твердыни
в иглах голубиною искоса взгляда
юному ли строить по долинам ветхим?
времена их исчахли и рухнули сроки...
воздвигать ли заново под грозой ближней?
обступили дальние протяни лишь руку...
если перевидано растрчено верчено
дудено ли крадено все кроме прозрачной
остается сосна моя с твоей горой рядом
не верти с прошлым голова квиты
вглядываться словом невидаль да только
да только обрезаны крылья секирой

ГРАНИЦЫ ЗНАНИЯ

... Тело, свинцовое и комковатое, проглядывало с расстояния многих, как мишура, километров. Мишура копошилась в подножье. Видимая с букашечной высоты, она кровавила шелушащими блестками пальцы и ступни. Однако наблюдаемая глазом орла, должна была сливаться намертво с земляной тлей, и трупные, почти кубически вырубленные ноги висели над нежитью, ее не касаясь и все еще помня о своем будущем живом назначении. Оставалось непонятое: *ночной просвет*... Но туда, к двоящемуся крылу, оно всходило иначе: как бы с упреком и по-багровому. В чем была птичья вина? Парила, как писано в законах предков. Она парила, виновница, но в упор не осмеливалась наблюдать; низлежащее же *озирала*, как подсказывало умение. Вровень с клювом оно возносило комковатый грудной багрянец, а еще дальше... того не мог видеть никто: ни орел, ни букашечная высота, ни, тем более, километровая мишурная тля.

... Солнце, изъеденное тело солнца: воздухом, воздушной падалью, добычей когтя и клюва, которая для него, беззубого, страшнее дышащей ночной отравы. Мертвецы, сколько их набралось за века веков, изгрызли тебя, как матерые волки, своей лютой витающей болью. Солнце, солнце, ты — комковатое тело, которого видеть не хочет никто, так нещадно-свинцова въев-

шаяся в тебя мертвечина. Слепнущими глазами мы подпиливаем твой багрянцевый ствол, но нет у нас сил, чтобы его срубить, даже изглоданный, изъязвленный, ибо, осилив мертвецкую боль, ты удерживаешь — стоять ему и стоять! — пирамидальное узловерхое тело. Мы догадываемся, впрочем, что нет у тебя головы, а если уж и была, то пожрало ее вскипевшее сердце, в котором вся твоя столбовая власть. Единственное, что мы знаем наверное, это — что связано твое сердце узлом, где глаз твой холоден и спрятан от любопытных. Так где же твоя душа? Дышишь ли ты? Вздыхаешь ли? Нет, не ответишь... спросите-ка лучше у мертвецов... Но ни ты, ни я, ни они не скажут, как заполнить *ночной просвет*.

В САДАХ ГЕСПЕРИД

Я прогуливался в садах Гесперид. Я срывал яблоки и колбаски. *Бабушка!* — закричал фокс-терьер или другая прочая пигалица, но стена устояла, и я не шатнулся. Нет, я прогуливался по аллеям — куда?.. где перло в глаза: мурава? она!.. что ли сослепу да кругаями. А ветки прудили сверх головы, и возопило, запутавшись: *деточки!*.. С клювом какая или кто в сетях, но нет, крутолоб он, биндюг, и я не покосился. Нет, нет, я прогуливался, где гнулись тропинки, дышало на ладан, темнело в глазах, а из кустов прошамкнуло: *мамочка!*.. Букашка ли с горя, сам догорая, но будь ты неладен, я не дышал: *в садах! в солнцеводах!* — и мрак, нету сил, — гуляй, темнота! — только било в виски: *гесперид! гесперид!*.. только в воду концы, а до прочего — врешь: хоть ты лопни, хоть плачь, — нет, экое, счастье, дело...

Молчите, букашки, закройте, с клювом, прочь вы, пигалицы и деточки с мамочкой: нет, я прогуливался, стена и биндюг, по аллеям в тропинки, от счастья во мрак — не дышать, нету сил, но сады Гесперид все протягивали колбаски и яблоки. Жив ли? мертв? а гуляй... ну так в воду! концы!.. но нет же, вопило, кричало, шамкало... и я вечно, вечно срывал их — *о, ночь!* — затерянный в солнечной гесперидовой пасти.

АХ ТЫ, СИДЕНЬ-МОЛОДЕЦ!

Молоденький с игрушечками
сизивал на колу
семечки полузгивал
по ветру рассеивал
трынь да кровь да брень мозги
на колу эх на полу
езживал молодчик
да в моляйскую дыру
выдывал таракан
исходил с полтыщи стран
ножками-д-черняшками
с арапчатами с яшками
на пиру да с объедками
эх с васятками с петьками
со свету поворачивал
к ночи конопачивал
да молоденького
да с игрушечками
на колу
на полу
бросил черт тебя в дыру
сиди да полузгивай!

ОЧЕНЬ ПРОСТО

У Коллоида — три сына. У Баллоида — три овчины. Но ни одна не подходит. Ни Коллоиду, ни мальчикам. Три Коллоида малых, один — велик: всего четыре, но Баллоиду — тьфу! Обойдутся ведь. Не возьмут ведь. И в точь. Овчины-то. Три, но содраны даром. Впустую, стало быть, шкуры. А холод. Дерет. Как возьмешь? Нет уж, дудки, себе дороже. Звериные, да, и в стоячем-дремучем: но кто ободрал? Нивесть. Ибо в том доме, да в городище, да посреди поля в лежащем всемирье никого нетути: шиш. Одни Коллоиды (счетом — четыре) и один (а шкуры? ну, пусть!) сиротина Баллоид. Всего, значит, пять; со зверями — восемь. А звери-то: где? А овчины-то: из лесу? Нет, овца в лес — не ходок. Не подходят: считай — прикинулась. Холод. Но ни дать, ни взять. Порода волчья, вот и не чета: даже Коллоидам, даже в стоячем-дремучем... То-то Баллоид. То-то они. А если в лежащем да посреди поля... Нет, посреди, но — врозь. Дерет. Холодина ведь, братцы! Вот и считай. Дерет-то дерет, но — врозь: овчинный Баллоид — раз, сыновитый Коллоид — два. Так устроено в доме да в городище, в волчьем всемирье овечьих шкур.

ЕСЛИ...

Если сфинкс задает вопросы, значит ты возражаешь сфинксу. Если в груди у тебя топор, значит ты прячешь за пазухой обух. Я не виню тебя и не ставлю в упрек эти прятки. Но если ты искрошил мое солнце и выжег начисто мою ночь, ответь, нечистая совесть: зачем тебе в сумерках мой голодный обрубок? Не потому ли, дутый чехол, что все мои *если*, от пекла до стужи, распаляют, о ствол без ядра, твое спартанское любопытство, тогда как сам ты хуже обрубка: сыт, доволен и туп — удав! Нет, я не совесть ставлю в упрек; но если сфинкс задает вопросы, если за пазухой спрятан обух, знай, что и мой обрубок, даже сумеречный и тощий, сумеет извлечь на свет свою ночь и в пустоте твоей, гадина, раскалит докрасна безмозгло-гадающую головешку.

СВОБОДА?

Вихрь ли чей?
размахнулся балда
и хижины — ма!
и чух — города!
прозрачно?
слюда!
так рассмейся тюрьма
смейся каторга
смейся до слез
только б не расхохотался
кто там с дьявольского холма!

Какое счастье поэты
что у меня вырвали молоток
которым дробить вам зубы
счастье власть

но

Н

Е

Т

не дробить ему
слабоват молоток
печатный

ДА ДА

только вырвали крик
ваше власть

С

Ч

А

С

Т

Ь

Е

которым дробить бы зубы
вам

жующие воздух

НЕТ И НЕТ

Я скажу *нет* младшим. Я их заставлю искать у него оправдания. Какая тупица-смерть сможет заговорить свою натруженную с кляпом сестру? Любая, не перечесть; и все — деловиты, легки, языкасты, фальшивы до тошноты. Но только одна, другая, вольна укрыться в моем *нет и нет* и, оглохшая, как овражья ночь, выломать его крышу. Она не считает звезд. В четырех раскрытых стенах она сама доступна их небесам, где на концах ее искровавленных пальцев младшая, молодцеватая поросль только и сможет вырвать себе оправдание.

НО ТАКОЙ ... НЕ СЫСКАТЬ

Машина пишет правильные горизонтальные буквы. Косо проходят мозги. Они лишены внутреннего равновесия и роняют буквы в море тактильного переживания или, точнее сказать, сочувствия. Запредельные вещи оказываются в спаренных озвученных буквах самыми близкими соседями. Астматические, руконогие и с головой, они живут со мной на одной площадке, и, поскольку в моей квартире грабители раз навсегда сорвали замок, невидимое осязательно, без всякого стука входит размяться и, прочистив горло, сновать по комнатам. При всем своем спутанном изобилии оно не избавлено от весьма разборчивых естественных потребностей. Когда я, закрыв глаза, сумею уловить его и назвать по имени, оно безропотно, едва надышавшись, поодиночке либо гурьбой возвращается восвояси. Но слишком уж непомерна его численная великость, и не достанет у мыслящей ткани имен, чтобы разобраться в этом приливно-морском, хотя вполне индивидуально вздыхающем многолюдстве. Тем более что в соседней квартире я, даже не заглянув, угадываю бескрайние сумеречные анфилады и косо проходящими мозгами соображаю, что в самом конце, которого, разумеется, быть не должно, можно выйти на такую же совершенно площадку и столкнуться опять с той же, до неразличимости, моей квартирой, лишенной замка. Грабители, ме-

ня не заставшие и ничего ценного в комнатах не обнаружившие, рассчитали в отместку с точностью, что сорвать его — лучшее средство со мной разделаться и посадить в квартире навечно. Сами они, давно пустотелые, бродят без толку в соседних анфиладах, в сумерках неузнаваемого, но выбраться оттуда им уже не поможет никто, кроме машины, пишущей правильные горизонтальные буквы.

Это — все, что я о них знаю. В остальном они — тайна. Грабители, о которых я прежде с ужасом думал: убийцы. Но передумал. Пусть. И машины такой — не сыскать.

СТЫДЕСА

У малиновки в горлышке
садок дождя
чуть погодя возьму их и выдавлю
трое перед зарей
три в горле слова непризнанных
стыд
на губах игра да с бессонницей
стыд мой
по малину чуть и стоп никуда
погоди
только три
только трелями
ну!
умру до солнца но малиновых выдавлю

СЛУЧАЙ

Ночью коротко хряснул кашель. Я, который взглянул на я, прочистившее трахею, удивился собственной низости и с сожалением вспомнил о безымянной любимой, с какой только что целовался.

Я схватил за волосы это преступное я и отрубил ему голову.

Оно ухмыльнулось и поставило ее на место.

Я стал сдирать с него кожу, как очищая картошку, но оно облачалось снова, как в прозрачную ночную рубашку.

Тогда я легонько нанес ему маленький подзатыльник, и оно улыбнулось мне улыбкой брата, подмигнув с пониманием этой веселенькой шутке.

Уже светало, и, обнявшись за плечи, мы на цыпочках удалились к растаявшей вместе с рассветом безымянно целующейся любимой.

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

спустите паруса

блеск

жилы дышат пажитью

ласковых ли

но

входить посторонним запрещено
бинтам и

ноги кукольны

как лава

в головах

смола

темно

выносят на подушке смело

на дно

слова слова

а

сердце поседело зашторено окно

СЕБЯ ЛИ РАДИ?

Гор-ли-дыня
летательно
или только летально
а с веток швыряет финики добра и зла
 не шуми лист-другой
 отцвела гряда
 то-то тянет-мм-гла
 долго ль холодно
но летательно
ну хотя б и летально
крылит не к чему птица над садом одна
пусть одна не беда
если ж не голодна
всюду финики да не с добра не со зла
разбазаривая в голодалой траве.

КРЫЛЬЯ С ПРИВЯЗЬЮ

Нужно, нужно... ничего не нужно: жена, нож и нужник равно обязательны.

Обязательны, если и потому что предметно-телесны. От предмета до глаза протянута волокнистая нить, но эта нить тверже алмаза.

Обязательность, впрочем, ничего не доказывает. Она — всеобщая, без поводыря, достоверность. Однако доказывать изощряется: только этим, грешная, и занята.

Нужно, поскольку... нужно затем, чтобы... но единственная, с детства, нужда — парить. Крылья, а не алмаз, плоские крылья — тверже, чем нить, которая еще тверже алмаза: крылья ни с чем не связывающие, кроме воздуха, забывшего о всякой твердости намерений.

Крылья же этой твердости не лишены. Они не знают иной. Их намерение — всесторонне.

Но всестороннее — пустой для них звук, если нет обязательности. Крылья направлены алмазной потребностью наземных нитей, которая поневоле выдает себя, догорая, за всеобщую необходимость.

Их закон — свободный, как сердце, полет, обусловленный достоверностью местного, до тридесятых чувств, притяжения.

БРОДЯЧИЙ ГИМН НАПЕРЕКОР И ОТ ЗЕМНОГО ДО НЕБЕСНОГО

Болотное небо свистит как вошь
не спится ей в рубахе странника
от скул он вымер сплошь до колен
и даже рубаха празелень тлен
но только небо в нем поперек
с землей по-болотному свищет

откуда куда ни в грош саркофаг
не ставит вопроса свыше
для нераскаявшихся бродяг
туже стяг! он вошью пропах!
чтоб на земле доломать замок
где в рубахе болото свищет

не спится ей неба вшивая клять
свисти в волосах и выше
но только рубахе вечно торчать
и если уж вымер сплошь до колен
от скул заболоченный поперек
странник тебя не услышит.

ЗАГАДКА

Он судил верно: прикоснуться еще раз — значит хуже, чем обрубить руки. Они станут изнеженными, как цветок, и будут вспыхивать на бесстыжем ветру. Он знал по глазам: эта девственность уподобилась листовому железу; а он привык к любезным препятствиям. Но даже в любезности препятствие не лишено костяка, и женская плеть способна перерубить любой позвоночник. Такая жила была бы ему по плечу. Руки, ее растягивающие, приобретают голос, и перед этой отравой она бессильна. Но листовое железо... Он знал и не мог понять. Тут крылась люто, как ястреб в скале, безудержная оплошность природы. Даже она, природа стихий, оставалась без понимания. И над жизнью не властная, она отдала ее людям: чтобы эта, иная, очищенная от земли, прочила им грозную беду.

Знал он и это, но не страшась, только остерегаясь, похаживал мягкой пятнастой лапой, с жестким коротким рыком, один, — в попытке приблизиться, разгадать топорную, с обухом, тайну девственного провидчества.

В жизни, нужно отдать ей должное, расставлено множество безверхих стен. Мертвым — и тем не дано. Не перебраться, нет! Но у каждого — свой магнит, и совместно, с разных высот, мы, притягиваясь, закаляем тигриной повадкой настороженное тело непознаваемого.

НЕ СПОРЮ, БЛАГОДАРЮ

Спасибо за чужое слово
без тебя я бы пропал навек
поэтическая корова
спасибо за твои сосцы

**если кто-то окликнул из соседнего оконца
хотя сосед он давно ведь в утробе сгрудившихся
одиночество без промаха навстречу вздрагивает
не лебедь так облако мое через живущий лес**

оно вытягивается как на слух сосущее
его губы становятся тысячекилометрово-палящей
длины
всегда голодалое как заморыш из индии оно лучше
всякого якова знает чем несть свою утолить

кровавое но питается только молоком и маслом
 которыми до конца захоложена подземная
 многогрудь
 где друзья сгрудившиеся в мясородном подоле
 матери
 уж прокормят нуждающегося уж как-нибудь

чтобы он тоже час придет вошел в их коровье тело
да не куском железа заточенным на конце
и оторвавшаяся чтобы струна догорела
в еще одном будущем с брызгами сосце.

КАК БЫ РЫЦАРЬ И КТО-ТО ВСЕРЬЕЗ

Жизнь проходила *как бы*... В любых передрягах, под любыми ударами она, не видя и не раздумывая, поднимала смерти навстречу, как щит, свое *как бы*. И был этот щит неподдельным; хотя *как бы* внушал смерти: *погоди, не твое, не последнее... потому и всерьез ...* хотя выставлялся тотчас и, пожалуй, уж чересчур нарочито, но, по правде сказать, за щитом не таился никто. Он двигался самостоятельно, *как бы* несомый воздушной струей и однако вобравший в себя тугую болезненность земной судьбы. Щит был обнажен предельно, как тот, о ком говорят: *без кожи...* но оставался, поверх невидимой или мнимой кости, изрядно мясист. Он был настоящий рыцарь и ступал по земле, как закаленный бедствиями человек. Даже в стянувшейся поясной петле, готовая оборваться, жизнь все еще проходила *как бы*... и оборвался, разумеется, пояс, а она, после четвертьчасового обморока, когда два конца *как бы* соединились, продолжала свой окольный путь. Ибо щит-рыцарь создан был именно для того, чтобы находить и встречать удары покруче, оставляя тем самым, в беглом или невидимом костяке, кое-что вне пределов досягаемости смертельной.

Не он был хитер, этот рыцарь и щит, а тот, кто за ним не скрывался, — проходя навстречу себе, отсутствующий, вдоль холодного озера, по

другой его стороне: навстречу своей беззащитности и неминуемости скрещивающего угла. Впрочем, и хитрость противобережного костяка была мнимой, как сама его призрачность. Стало наконец ясно: жизнь раздвоилась на боль и оглядку, на слепоглазое и невидящее, только бы опередить, задержать их свидание в озерном углу, в камышах, где просвечивало... где торопило все-р-ез... где это свидание вооружалось заранее всей полночной отвагой ее заждавшейся нежности.

ДУБОВОЕ СЕРДЦЕ

Я высек дубовое сердце в мачте впередсмотрящих. И я уснул.

Я высек в жилах ночной колоды искру без солнечного конца. И я пробудил василиска, но он, увы, оказался ручным.

Тогда в языках дракона я, горше крупницы моря, высек ту кристаллиду, которой ждал отродясь, хотя не чуяло сердце, что проснуться ему — из колоды и что, засыпая вспать, оно не уймется и не возвратится без дубовой мачты впередсмотрящих, без искры, без жилистой мачты, где звать должно, варварским василиском, солнечного конца.

КАК ПОЕТСЯ

Малыши малиновку
подняли на ружья
и запела картиночка
ничего не нужно

погулять в походе бы
за тридевять с тридесатым
надоело в огороде
толковать бесенятам

и то у вас не клеится
то валится с печки
собирайте кофейницу
за моря и речки

вся капуста-то вытоптана
без призора моркошка
разбегайтесь копытцами
подосталось немножко

рогоножкам на капельку
прогуляться вволю
огородово цапелька
пусть выключет поле.

ОСОБЫЙ РАЗГОВОР

Впереди — поляна, позади — грохот: взбесившихся тучи в горле страниц.

Наклоняясь к ручью, содрать с себя горлопанову шкуру; помалкивай, мясо; с костью, голыш, особый у тебя разговор.

Смолкло. Тучи в венах проходят, но не заикнутся: тетенят тени, а кожа плетет; дырява, шлюха, одна свербит и, брошенная, лопочет в траве.

Вздохами, но пусть не веет. Страницам ли? В шелест чей? Нет, пускай ни былинки: шелохнуться — криком кричать.

Так содрать с себя, чтобы уподобиться каторжным; они ли? нет, на свету — со штыками; им ли? нет, в их рупор — приклад.

Впереди — поляна, позади — грохот; тут в за-теми, тут тишком растет; чащобные — дыбом волосы — не продраться; ваш, кости и мясо, по-братски столбняк.

Эх, содрать с себя да наклоняясь к ручью. Чертова шкура!

ХЛЕБОСОЛЬЕ

Буквы хлебниковы
порассыпанные как пепел
я соберу в железный совок
пусть вытаптывает мелкота из клетушья
хлеб мой с пылу
да эх пеплокрылый
ешьте!
слетайтесь!
спасибо пожалуйста
мое вам с кисточкой из печи на свет хлебосолие

И НАКОНЕЦ

Осторожней! — рывкает лес. Грузите тучи... — шепочет долина. Чтобы не брызнуло кровью гончих, — сокрушается ледяная гора.

Все вместе — твой нерасшатанный мир. Он — единственный волчий клык в твоей челюсти, которая просит, мелко бренча, о загребушем снисхождении века.

ПРОЧЬ ОТ ХОЛМА

*С винтовкой
наготове прицел но трапеция
с метлой он нелеп
качая
бычок ли да в непогоду
знать коротка
думка
в паху эх а-на горизонте
мудрено-бе речь ну патронник
разродись от холма*

Я провел эту жизнь рядом с тобой. Я провел ее с кровью, без передышки по твоему расхлест-кому лезвию. Но если в следующей ты донесешь-ся хотя бы песчинкой из лагеря антиподов, в этом месте касания, на прожженной щеке, я, не раздумывая, предамся пожару, восславлю брат-ский самум, чтобы всю твою, за крупницей круп-ца, вражью скрежетную пустыню перетащить зу-бами тоски на эту залетную сторону поцелуя.

*Сердит волк
серый навзничь
стой он не принимает кран
ну полеживай
пока с шерстью
кто там лишний запорошит*

Веками — он нагромождался веками, этот известняковый галдеж. За слоем в слой, за украдкой в украдку — гора! Выжидала. Смотри, мол, с кем и куда. Потом исподтишка принялась осыпаться, пока не грянул свинцованный вихрь, чтобы разметать ее в легионы. Чтобы в глотке вещалых стыло комком, а поверх легионовых, с пяти сторон, встал галдежный сорняк, пожиная в ушах кротовья пробкощитную, в самый корень, отместку. Что глыбже? Пробка или известняк? *Нет, будь ты проклят!* — гудят молчуны и роют, роют до окостенения, пока не выйдут фаланги в кипящую серповину земли. И огнеупорные под костерявым щитом, сотрут, как мусор и вздор, галдеющие по верхам легионы.

*скройся ты сучья
паперть с глаз
под вечер в голодняк*

Когда жить стало неважно, я ощутил в себе мраморного колосса. Но я не поверил. Пальцы бескожились, колени двигало ходуном, и зубы молчно грызли скалу. Я не поверил, Фома, колосу, вошедшему в мою шаткую жизнь, чтобы изнутри, продираясь по жилам, разгладить мрамором кровеносный, с вытьем-оскалом, поток. Я не верил, собака, а он возрастал во мне до размеров статуиного гипсopotама, успокаивая, но не утешая, — беззлобный, стойкий и непримиримый в ожидании бегемотово-темных задач. Нет, я не ве-

рил и, увы, не поверю, но справиться с мраморной тушей — это дело, как ни крути, вскорости предстоит.

*караванов с баржи хобот в попугая
слышь
на пять верст тишины
кого сморгнуть
кому припожаловать
и опять он врет томогавк*

Мы давно забыли тебе поклоняться и вот — устали тебя проклинать. Ты не паровоз с машинистом и не заведенный коробочным ключиком грузовик. Прекратите розыск злодеев! Прочь глаза от козлов отпущения! Они налицо, под рукой, но не поддавайтесь ужимкам заговорщика-комедианта, не вторьте ему с придыханием, по поводу и без причины, как провинциально-сортирный клуб. Нет леденящей изнанки — нет! Оглянитесь же — с чувством, но зная меру: без истощенных, не к месту, сцен. Осязаемый, влажный под инеем призрак, она прошла семитысячным танком — прокатилась и надвигается вкось, укладывая, бестревожней Будды, веера готических тел. Все полегли, но еще шевелятся... уже кой-где, глядишь, поднимаются: металлический тяжело-вес не смертелен, однако гусеничные яды — они-то пропитывают, берегись! Пропитывая, заодно и питают; это, впрочем, ей невдомек... Да, полегли, но приподнимаются — все, кроме шельмы-

комедианта, который безвыходно вошел в ее роль. Какой уж тут ключик! Какой заговорщик! Катится с гусеницей, а не сфальшивит: влип и смят, вчуже смерть поправ... Нет, и в иное не поддадимся его загробным ужимкам; нет ни черта, ни смысла себя завораживать и тебя, попустительница, низко кланяясь, проклинать.

*град
а в посконное рыло
не выгорит
ну так прысни
со смеху кирпичом*

Я просил прощения у твоей кошачьей лапы.
Но ты ежилась скупой, как на рассвете стена.

Я кланялся в пояс твоей сосновой шишке.
Но ты выросла головой в песчаник и запрокинула
в стойке узлом невысказанные среди неба ответки.

Впрочем, и покаянный, я шел напролом, я
глупел на глазах, умножая вопросы, я бился, как
тур, о твою покату, с лиловой выщерблиной,
скалу. Но рога твои сделались круче любого вы-
сказанного отвеса и всякой смертной рогули, ка-
кую нам выдано обломать. Я не добрался до
сердцевины — и только бараньим чудом не обло-
мал свои.

Теперь я спрашиваю тебя: как долго еще
мне выслушивать твои кукушечьи слезы, сколь-
ко осталось считать, поить твоих разбросанных
без присмотра детей? Я спрашиваю тебя и себя:

пристало ли нам исповедовать эти прятки, не пора ли, без центростремительной веры, без острости, без вышколенного гнезда, усесться, оба вдвоем, за многодетный, по ветру, стол в назидание тем, кто роет и рыщет?

*да и эх полосну
шар с оплошки
нож ему поделом
катись черт не подкатывайся
горлопан кругловат*

Катано, катано — гоп, та-та! Гномы, потом великаны; середки нет. Откуда ты взял, человек, свою меру? Ну, своеволец! Ну, лжец-пострелец!

Стрелами. В перьях. Описывая по дуге. Со-размерно не птичкиной клетке — нет, не главному чехлу, — но примагниченному оконечником солнцу.

*твой ли чан
раскрой глянец
дую ночь без прохлады
с кочергой бы но скачка до сорока
не рычи в корчах о падшем болванчике
пусть до блеска
пусть щепки подбрасывать
празднуй злоба
довольствуйся
кто с лохмотьями в дым не пожалуется
распроклятая хрясть голова*

Не петушишься, язык. Хорошо тебе, брат, кле-
вать с огнем в гималайском предбудущем.

Простору верен затылочный глаз; временем
сыт передний. Позади — съедено, а что там во
тьме, какое грозит сегодня, — о том скажет или
смолчит растущий издали пень. У тебя его нет; он
— за кручей, в цвету, на кончиках ее пальцев.
Слишком, гордец, тебе невтерпеж. Обученный за-
дыхаться в горах, я поклянусь хоть лозой: хоро-
шо по небывшим долинам.

Не петушишься, гроза. Не выклевай наспех,
сестра, глаза вымирающих с терпкой ночью вер-
шин, откуда затылочно, без языка, вижу, кажется,
утренние ее первоцветы.

питательно

*жуйте с хрипятиной и клыками
винтик разумницы в мозгу зубаст
грызите пока еще нет не дышит
выдохся калач звериный
закоченел в паровоз*

Во времена оны жили-были на земле трое.
Знаний искали колодезных и внезапных, как не-
льзя ближних и более чем заморских, шаровид-
ных, плавающих и скалистых — не ради веселия
или, скажем, плача, а совместно с таковыми в пу-
ти. Жили они давненько и были в одном-едином
лице.

Пришло время. Все трое с успехом пересели-
лись, но лицо их утроилось не без натяжки. Стали

докапываться. Оказалось — под спудом. Мотыга, сверло, калеченный прут рыли порознь, чтобы, добравшись, уложить в четырех земляных стенах, в самом подручном соседстве. Накапливалось и скопилось.

Пришли, наконец, и сроки. Трое раздвоились, а попарно — размножились: столько, что снова — как одно лицо. Одно лицо и одно расстройство: ни сосчитать, ни обнять. Собрали, обили, законопатили. Ходят вокруг, гадают, но от кого берегут? Себе — никак, друзьям — ни к чему. Пока не пришел какой-то и не столкнул ее, бочку, туда, где жила до времен: в шаровидное, плавающее и скалистое море.

Все это было одновременно — пять-шесть веселых с плачем минут.

*если корчевать
то не просто а пнисто
если выкорчевать
пусть с огнем голосит
раз два жгись
в буераках костью легло
спотыкаясь да не копытни*

Я не поверю врагу, который без толку и себе вопреки раскручивает мой шаг по бесноватой утесице. С ним не скрестишься: он — чужанин.

Но всю жизнь, от прострельной раны, мечен шрамовой несмываемой плеткой, я настагаю

друга, чтобы вышиб с воли кайлом вороватую
сучку - почву из-под моей беглецкой ноги.

*в перекрестье бей
в самую носицу
свет в просвет
глаза скошены мухой
ах как темно*

Ищите винтоватых. Правых, мамочки, нет!

*запал каков а не жди солдатки
в груди что лед ни на грош
поспешности сам авось бикфордов
додумается в сердцах*

Я заметил в себе к ночи резиновую сноровку. И не рогаткой по воробьям, а как можно круче и дальше. Вопрос был: куда и выдержит ли? Древесный с обрывом, с пропадом, над брызгой или ручьем, я не мог забыть о подсечном короедском огне. Поэтому и вопрос усложнился: устоит ли сноровка, успею ли закалить ее до каучуковой — чтобы глазок прицела вытянулся, с усиленной натяжкой, навстречу едкому огнепоклоннику? Там-то, а не над пропадом, пожалуй, гнездится мой безответный вопрос.

*горек он молочай
но в крик
назад хотя б и кнутом
долой где вырван глаз и не раз
к трезвомысленному наутек*

Снег замарать — пустяк. Этим лишь и бесценен. Но попробуй-ка выскрести на божий свет смолу из дупла-чистоплюя.

*накартавил
и с присвистом дырку молить
спасительница
нипочем кровинка*

Виски — прошлогоднелистного цвета. Кадык — беседочной желтизны. В каждом зубе — корытина или зияма. В мышьих тропках — плешины глазниц. Управитель и подначальничек. Плутать по такому лицу, забредши с этакого света, все равно что Вергилию дать Гоголя в поводыри, вырубив память о Данте и без надежд на Дантона. Кто мог бы поверить? Собачий, львиный и кряжистый мир докатился — в какой петляя воронке? — до заболотно-клопьего горлышка. А вы говорили: бездна!

*что там выпало
а поторапливайся
какое считать
сочтемся
твой матка ход палить*

Не пугайся: от скалолазов не проведу знак равенства к верхолазам. Вольно ли шатающемуся на шесте заглядывать в будущее и его перепахивать? Свысока ведь и дальше — под хлюпкой рукой, так и тычет, надвинувшись, головастой поимкой. Нет, не пугайся и не понукай: зажмутив глаза, но буду карабкаться, — зажмутив и помня над крутизной, что не твоим знаком равенства обесславлено свергшееся верхоглядство.

*ты мети всеметра за пером перо
ты леденей всекомета*

По деревьям с кокосами или без челюсти по манускриптам? Так простодушный и вездесущий попка выпрашивал путника, изувеченного сумеречной ордой. Свежело к ночи, и раны пылали. А дом тем часом покинул дрейф.

*запрокинулась
и под дых крылу
куда лезешь птенец
летитай
крепче полюбится*

Ночью я вижу насквозь и более, но днем
глохну, как пень и колода. По ночам пророчу о
том, что есть, но днем, как обрубок, сплю и по-
глядываю. Сова — это так говорится, но рвущие
в клочья полмира, без меры и без разбора, птич-
ки времени под моим молотом разбегаются, как
пауки. Как? А вот так. Пауки — не сравнение.
Впрочем, скорость паучья ничтожна. Я настигаю
их — зрачок велик! — и высасываю ясновидящий
мозг. Я их высасываю для того, чтобы лишнего
не оставалось: пусть будет ночь как стена... кому
— кирпич и кирпич, для меня же — сплошь и про-
зрачность. Как? А вот так. Не с чем сравнивать.
Ибо там, за стеной... нет, пусть разбегаются...
там, говорю вам, ночь без щелей, где слепнут,
вглядываясь, сова и паук, но зато разгадывает зарю
глухой обрубок, пень и колода.

*в корень под якорь
лишены мореходства
не забывают
стоянка затягивается на денек*

Разбирать по буквам и косточкам можно
еще хоть с тысячу лет. Можно? Вряд ли. Пожалуй,
в обрез. Не пора ли, кумекают, врассыпную, к
лесным четырехсторонним божкам? Так и шара-
хаются на месте: в точку выбор — а некуда!

*сброшу листья с досады
плети ветрок
ваше сиятельство
насмехайтесь
развесист
но бровью-ответкой не поведу*

Я тебя скрадывал от посмешища, от пусто-
прасных гаремных толков. Но ты плотно никла к
окну и, приплюснутая, искушала торговцев жи-
вым и белым товаром. Их рынок шумовел в
двух шагах.

Тогда, перебросившись в дом, я хлестнул те-
бя по глазам наотмашкой, но ты раскрутилась и,
кротски упрямчива, вlepила мне в лоб стыдею-
щий обжигом поцелуй.

Куда подеваться? В столбцы ли соляника?
Как заслонить тебя, пустотелом и грудью, чтобы
жалила без сырявой промозглости, чтобы не со-
блазняла, рассовесть, подколодного торгаша?

*стыд вам
вещуньи с потравой
проваливайте
лесовик за спиной*

В срок ли кораблекрушение? О том расспра-
шивай не беглых крыс и даже не замогильные ри-
фы, а полумертвый киль.

*дура
горбатая дура морских пороков
моих по средам
твоих в субботу
встань покажись
как сиять бы нам
с тобой об нож вдвоем
взвейся
нет еще не срезано
дура душой
мы водоросли под водой*

Почему я пришел? Отвечай, собака! Почему стал? Соответствуй, псина! Зачем нес, бил, ронял — никакой-то, кому подгавкнул назваться, клеймовал, шельмец, двойняком, но не смогнул, бульдожье отродье, навеять свою тоскоту, вислозадую, знать-порода, в раскладках пречистой шкурной холенки? Что ты с выкатом? Что их упер? Клонишь, всеглазастый, да не покачиваешь; нет, голован, не осудишь, поганец, нет тебе воздуха без моего-то удушья, ни сна нет как нет со мной, проклятушим. Разворачиваюсь — это твои ляжки хаживают, надрываюсь — твое оно, вздошье, молотится. Колуном знобит, да только не выронишь: все до капли — мои, и слезят ядом-поедом сучью твою зеркаль. В гробу тебя видел, но так лютану, так иссолнечно курослепну, что развеет, как дымокоптилку, твой двойняцки-бульдожий спрос. И гинуть тебе быльяком по-сиротски!

*доска донышкова
горка горюшкина
посреди катуном валяй*

И сводило зевательной судорогой, и разводило по неусыпным берлогам. Вытаптывало невежд многознанием, отличало с нарочным курраган от холма. Хранило великовечно, рассеивало под хвост минутно, чтобы наслаивать коленцезавидно, с посеребренной заскалкой меча. Стрекозалось усопшим в скелетной погонке за счастьем, но вспарывало ужовьем под хриповатую грозыдерезы. Могнуило, топоркалось в спины, вывом трачивало исподнанку, единовверху с лихвойстороной. Лютовало с цертинными зело клякушками и, прихохлившись в кустарном узале, ехомлотом выслушивалось во самое себя. Лихорадило. Грайворонило не на шутку. Расклевало с последней улеткой. Вот и пробабило. Трилитыре часовья. Тогда вскрывавило арлешинные вены, отпокуда зарденчиво, бородинной серьгой не таивало и не ливалось, а ждать не пождет вдогоньжар, постоя на стражнице и проглядев с неотмира всеобнимчивый падучий сглаз. Спешите, нивечьте, восславливайте: отгуляло, людья, пограблями и скользает замкнуть в потравье на круги воспламенника своя.

*двинь
с востока лад
тучи с запада
рви рвань
люби без проглядки
чтобы выклевать дыроскоп
табань
задний вымер курс
добивай
с востока и с запада*

Нынче к рассвету в блеске и скрежете я узнал полусон ясновидца. Мореподвижная, во мне пыжилась и скрежетала пустыня. Я попытался соединить два конца. С одной стороны протянулись и окунали страусы, с другой — ввинчивали дымоходные крысы. Что до пустыни, она раздирала глаза полосоватой, не без простенков, маячностью, мешавшей уразуметь военный смысл совершавшегося. Однако пот лился градом войны, шедшей с двух полюсов, по законам порядка, к неминуемо-верному пропаду. Страусы оборонялись. Их защитные укрепления складывались из утопших строем голов, о которых гибко свидетельствовали шейные, с кротостью выгнутые редуты. Сверкая отраженно, без теневого вызова, как это свойственно воздухоносной перьевой глади, они хранили в себе незримо, как бы ушедшие во тьму опахал, столетия многотерпения. Ничего дальнего не возвещали, кроме своего выстраданного наперед присутствия. Оборонялись цепко — и вовсе не потому, что закалена была жизневоля,

но благодаря сверхдремучей медлительности родового и все еще яйценосного угасания. Таким, на бездымном краю пустыни, сердцу виделся страусов фронт.

Воинственность крыс обнаруживалась куда проще. Гораздо внятней, но точно с изнанки, без малейших, даже сновидческих, признаков. Она как бы мерещилась издали, но не видны были во все, только чуялись носом и пылью ее строевые ввинчивающие порядки. Больше того, они, кажется, лишь угадывались за толстокожим чувством сна каким-то сторонним, вне меня, соглядатаем. Если же, впрочем, и не угадывались, значит он носился в воздухе — бессмысленный, до механической одержимости, прицел их злокозненного подкопа. Потому что война, должно быть, шла ощупью вглубь земли — шагами слепца, наобум, без уверившейся надежды на схватку, — шла остервенело, однако и вкось, туда, где не подвернется свидетелей, в никакое время и нескончаемый век. И я отшатнулся от крыс, я закрыл даже сердце страусам, потому что дохнуло с пробудкой: срок мой короток и невзрачен, и нет ему света, пускай хоть тюремного, в той звероедской подплутоновой толщизне. Так, еще весь ледяной навстречу пышущему металлу, я схватил голубые щипцы, чтобы вырвать в себе чужую воинственную страницу.

*прочь в нивесть
подзаконье исхожено падалью
глаз один и с душком
щей
прочь в нивесть*

Не люби работу, как идиот бормочет со смертью, а камень, если стоишь на нем, люби до гроба и не раскаиваясь в пропусках времени. Текущее лениво так или другим концом нагонит несостоявшееся, и нет на свете, белом и черном, таковой пылицы, чтобы не осеменила самое каменное терпение. Когда, продержавшись жильным быком, ты заметишь, что твои звезды вечерют, выпроси у близнеца-соседа, который подвернется наверняка, красноугольный с насечкой топор, чтобы подрубить свои дошлые корни, и ты удивишься великости собственноручного дерева, пустившего ветки к любящим убивать и накрывшего широколиственно всю их невольную простецкую злобу.

*в границах вида
прозревающий заглазным концом
человек встал над глыбой
и прокричал ниоткуда
в ничье:
грузите тачки!
роняйте щебень!
собирайтесь походом на гнездоклятье холма*

Я оказался, по воле дующего слова, в положении встаньки, чье имя, грубое и без прикрас: НЕПРОСТИТЕЛЬНО СЛОЖНО. Жизнь должна быть проста, как разоблаченный догола камень, а слово ее — еще проще каменной голизны. Но оно дует, как лицо ветра с губастым ртом на старинной картинке. Оно дует и несет, куда вздумается, потому что его кровавистая сила говорит вовне голосом ветра и трубящего сердца. Я принимаю его в этой сложной и непростительной жизни таким, какое вдунуто сердцем и выдохнуто над морем приливо-отливных голов. Слушайте! Мне непростительно сложно. Будьте, головы, благополучны и не расставайтесь в качке с полосатой матросской отвагой!

ВЫГОВОРЮ

Памяти Д.И. Хармса

Я выговорю до конца то, что судьба положила на одну четвертую. Пролью с грохотом водопадным неделимое, отданное кипящей миске. Я посчитаюсь с вами, коровы, за каждую растоптанную букашку, которая в своем ежетравном мире переливала, как флейта Моцарта, из пустого в порожнее и дубасила воздух, не в силах унять-ся, на все составные лады. Сколько их есть, воздушных ладов, я не ведаю и знать не хочу, как отсутствовало понимание меры у букашечного певца. Но в кепке и с трубкой в зубах, он к травинке прохаживался, он щеголял и кобенился до той поры, пока раздвоенное чертом копыто не втемяшило ему в голову коровью истину смерти. Я посчитаюсь с тобой за него, истина одной четвертой, потому что он мой сокровнейший брат и мне так его не хватает!

НА ПРАВАХ ОДУВАНЧИКОВ

Их ненависть — в самый раз. Их злости не хватает понюшки табака. Их любовь беспредельна, как ледовитый океан. И на каждом их шагу растет мохнатое одеяло.

Их дети пугливы, как осы. У них процветает старческая верблюжатость. Когда ударит посох с противного берега, они чихают в платок размерами с генеральскую карту.

Они заколачивают ворота. У них в носу висит на цепи дубоватый замок. Их правнук играет с ветхим солдатиком, и животный солдатик ходит по струнке игрушечного мальчика.

Если солнце выглядывает из кустиков, их голос становится канареечным. Если полнолуние заперто, они стружкой лепечут в уши якобы страждущих. Их волосы комковаты, однако столпившимся видимы проволочные космы. Кто к ним прислонится?

Они роняют перекатный мяч на пол, ибо не верят в дальнее хождение. Мяч уносится, но они ловят тень мяча, и когда тень мяча ускользает, траектория наконец повинуетя неукоснительно.

Щербатые или гладкие, они знают о прямизне имущества и, воздвигнув горы добра, плюют на них с высокого места, чтобы испытать прочность слежавшегося. И горы выстаивают не дыша, как всякие горы.

НАДО ВЫБРАТЬСЯ

Могикане били изнутри колотушками в череп нынешнего разнолюдия. И череп раскалывался под воздействием племенных и пламенных трещин. В эти трещины ночной свет вливался, уже давно якобы перемолотый их сумеречными машинами. Могикане были невозмутимы, как дымящаяся трубка в зубах, но колотили жестоко, ибо из мозговых зарослей полагалось им выбраться на свет ночной и заведомо невсякий. Там они встретятся с глазу на глаз с надтреснутым черепом разнолюдия, чтобы наложить извне дремучие швы на его якобы светлое машиноподобие. И как невозмутимо колотили в него и жестоко, так же невозмутимо обнимут живую голову сердобольем ночным возвышаемого под звездами племени.

ДЛЯ НЕВСЯКОЙ ЯСНОСТИ

Я отнюдь не глуп в своей неписанной роли поэта, но, оставаясь понимающим и даже сверхпонимающим, как тайная власть, я — одна из самых беспросветных тварей, какие только возможны и мыслимы среди подсолнечных глупцов ночевья. Я не крошечный идиот, однако дохожу в своей поэтической молотьбе до бескрайнего идиотизма сидящих на стуле оцепенело и уперев глаза с поволокой в настенную клоповидную точку. Я не знаю большего сладострастия, чем грызть слоновье на куски взбеленившихся волн, и все же нет такой боли, однокровной и равноскачущей, как это перекачивание валунов в тесных ребрах моей курячей груди. Понимать? Стоп, машина! Я не разрешу этого питекантропова недоумения, пока не войдет ко мне чужой, без лица и прозвища, слух и не скажет о том, что он свой, что ему хорошо лежать наповал на моей хохочущей, как болван, наковальне.

ВРЕМЕНИЕ

Вострубила труба и ударила батоном
и понеслись корчи да судороги
никакой прямоты все кукожится сокрушаемое
о несбыточном
норовит оглянуться а нет изгиба в шее и глаза
застеклянели наперед зная будущее
хочет побаловать свое детское а видит старикаш-
ку с расхристанными волосьями
у которого за спиной мешок сдуло горчичным
ветром непутевым в какое-то ни-
кудышнее с ухмылкой побоку
то ли ямное тут рядом не то за сто близких
верст а не дотянуться под стужей
крючьями и не взвалить на подпле-
чье между трясучих лопаток
так что озирается старикашка и к месту прико-
ванный ошалело встречает застек-
ляневшее глазом и к нему несущее-
ся сокрушаемо
о каком таком несбыточном не разумея потому
что свело без изгиба шею стыдным
дубьем
и не догадываясь в корчах судорожных о пропа-
щем на ветру мешке без которого
не жить веки вечные старикашке с
расхристанными непутевым горчи-
чем волосьями

ВЗАХЛЕБ!

Кольями дробинами
молотите бабу чучелу
холобудами перинами
проложите след с крыльца за ворота
пусть бабища подавится со злости подлюга
и на лужок выйдет приплясывать сивый
у которого в носу кольцо с погремушкой
и на лбу жучок древнего бушмена
настали денечки для зверского топа
а чучеле бабьей харкать из горла
кровью дробной как пороссячий дождик
пока не захлебнется лужайкино солнце

СВОЕ КРОВНОЕ

Усмирите паскудники своих бешеных лошадей
мой котел не бильярд и не базарное стойбище
заберите своих ублюдков топочущих копытами
пока не заткнул им пасть ослепительной

пистолеткой

довольно клянчить мой сон свят
у меня на руках годовалый младенец
у него на шее не держится сумасшедший дом
и у нас больше нет ни на грош для колбасничества

сучки-времени

увольте меня черты дымчатые от ваших пасомых жеребчиков
и шастающих кобылят

вымирайте

здесь лежище камчадала

а не то как он хряснет шалый пузырь

то держать вам ответ в котле

за кровинку моей любви которую схряпало остервенелое сало

НАЧИСТОТУ

с вечера оставляю записку
утром разорву в клочья
и на спине бородатого колбасника
вытопчу конопатый мох

возьму голодную бегемотину в братья
и буду шататься с ней пан-нычем в подворотнях
а всех прочих раздавлю под гадкой периной
одним ударом кулака

приходи бегемот поговорим о страшном
которое пугает малюток рогами
я войду в твою шкуру браток голодный
на подмогу об стенку и стеной по рогам

спите лютики покойно говорила записка
но я разорвал ее в распархатые клочья
чтобы ужасадним под гадкой периной
навести ударом кулака

полететь к болотной наострив лохани
в обнимку крылья с мордovorотом лебедь
пока не вытопчем страшен страшен
в бородастом по́небе конопатый мох

СЛУШАЯ ТРЕВОЖНО И ВЕСЕЛО

Гитаристу Пако де Лусиа

я догоню гонца сеговии
чтоб он гитарой надрывал
пришитое к моейной крови
лампасами опыхал

когда водрузят знамена пылатки
с перебором шестипалой струины
швырну горевашее червнóй кадке
в глотательное место объев белены

которые шись чирикивали таковатым вывертом
потому кто неча сказывать тупясь в дуплоте
ухаживайте к болотным вы черти фертам
и эти знаменеющие а с гинтарами те

ведите меня к подколодной я не выроню языка
 схваченный изо рта под наследственным ее болтом
 а плюну в глаза и пойду до последнего бросив
 телепатое с моих плеч нечто вместо
 бессолнечного ничто

2000 УДАРОВ

се к нам дым нес бывало жалуйте
раз и стер ну мыслив надолго ли
в этом нет от мир горь комаривали
о палых сморщ тарах денно полбами

тут кол часто дых гораживает
за что воз он кажет нынчатым
ай те луч да теши с гитарой же
кто ход вожжам а чьи кровь не своим чета

ктой то ах нельдым головой бы цел
сей он душ стер а еле вьедчивый
приноравь д ливай всяко пев острел
ны голыш ой как бивал опрометчиво

охи цеп кагул и лял серый в донцево
пере сколь глазко ан взгреб завидано
на вот линь дин об солнце лоцману
проведет ясь душаны сверк во гряды она

моливай гуляк диди волчь яд пройденъша
путем цы дорга чал брасывай жато
коньи в мир нет отсечен паша
гол и вой звыл а стело копатой

ОКАЯНСТВО

Корчуйте хлеба́ корчуйте черти без голоса на одном придыхании. Ходите с мешками субчики у которых от пупа горласто тянется провод ко многим. Ворошите ворошите прошлое моей вины чтобы грызть оную до подветренного основания где не останется ее ниточки кроме волоса от чужой бороды. Сегодня слышу ничего в моем не лежит сундуке тела без совести который взломали на растерзание отданный шепочущим стыдное. Вытаптывайте траву моего погорелого выгона откуда разбрелись всекопытные и рогатонесущие одной былинкой с лютиком позапомнившись. Ничего не знаю о трудолюбном утреннем племени ибо в ночной шапке зверюга и нет отдушины даже в рассветной дыре. Корчуйте и топчите безжалостно пока есть видимое время и заемной полпуда силы ибо встану под косыми топорами соколик и пропою таковское что полетят с заоблачным пришитые ветхо перья и обвалятся не дождем ситным а самоградом в кочки одиночества моего всеобнимчиво. Малый птах мне браток а не твоя бубноголосица день вороватый. Сирый таракашка а не тутошняя под черепом гостевая бестолочь с подхохатывающим. Клюка мне ближе вскрытых под остротами табачных душевий где распахиваются до дна на глубине слуха пряча гирю с довеском. Нет ни совести ни внимания к голосу придыхательному ибо вдыхаю другой

сразмаху грохотно приближаемый рубя на треть
и на четверть скалистое в нашей общей корчевине
падлых которое через камень останется дутое
воздухом степного без утайки поющего веча.

УЗКО — НЕ РАЗМИНУТЬСЯ

Тропенция

и глаз гаденыша не смеющего поверить в доброе
некому тебя выколоть
когда пройду шатаясь из последних силенок
в темные снега

ЛЮБОМУ РАВЕН

Я не могу кричать во всю глотку о том, что мне сказано шепотом. Но я не могу молчать, как прикаянный, о невысказанном за пудами подкалдыкивающих замков. Я ищу выхода в бумажной дырке, где открывается безоблачно засасывающая воронка: будущее в просветах лиц многодневье, которого на самом деле никто, кроме моего бычьего черепа, мне покуда не обещал. Я не слушаюсь его заклинаний, как попка, однако верю накрепко, что и черепная подклеть заполнена недаром и не попусту одной требухой. В синем небе четыре мухи, которые должны же говорить о чем-то стоящем, ведь не случайно их занесло в такую даль снизу видимого, — так разве мой самоуправно думающий череп возвел понапраслину в еще более привольном, чем их разнебесье, будущем? Нет уж, позвольте считать себя равным не только мушинуму в синеве квадрату, но любой паршивой козявке, с которой представится случай беседовать и через добрую сотню очеловеченных лет.

НУЖНАЯ ПИЩА

Был на свете человек, который кормился перепутанными листиками чужих мыслей. По фамилии — Отходный.

Этот человек кричал не своим голосом, когда судьба затаптывала его в каменную гущу, где не произрастало мысли ни кустика.

Отходный по фамилии, он попал в такую передрагу многолюдной стужи, что его голос стал настоящим голосиной, а потом надорвался и пошел шептать наедине с самим собой в лютом, как у затертого льдинами, голоде о произрастаниях бесчеловечия, где кочуют, унося тупо и упрямо одноверхую думу, южные тополя.

Никто больше не знал его прозвища и фамилии, потому что он смолк и сделался пряמודушен, как деревянный на юге ствол под копьем, и откололся раз навсегда в недостижимой за горизонтами сытости от шумной и лишенной всякого мысля, уходящей к смерти на север толчее разнолюдия.

Отходный — было ему имя, но, выброшенный бездумчиво в отбросы общной жизни, он стал родственником иных цветений в ожидании новой и, быть может, уже немислимой поросли человека.

НОЧНЫЕ ПРИМЕТЫ

Существо вне гражданства столицы.

Н.В. Гоголь

Тут трое спокойных, как дуб, беседовали с одним беспокойным, как водоросль. Они доказывали обходительно, но он метался головой, как под пыткой. Ушла вода, за водой — луна. Трое покойно укрылись, а беспокойный впотьмах, как срезало, полег вечным сном...

Тут два старика, из которых один — весь как проволочный, торговались со смертью. Другой — кашеобразный. Но третий был ни зелен, ни дряхл, и в глазах у него стояло выражение зашедшего на минутку. Горячась, как ужаленный паскудой бычок, он строил остервенело в дикой речке плотицу, на которой два старца высились долго, все менее взрачные, пока, торгуясь со смертью, не скрылись за облаковатую...

Тут две хламиды, из которых одна — выше солнца, спорили до потери сил. Суть спора была ясна для второй, потому что выше солнца не бывает и во мраке не разобрать. Первая ее не видела, а слушать во тьме не пыталась. Она морочила себе голову какими-то вечными развалинами Трои, которые выдумала за недостатком воображения. Спорили бешено, каждая о своем, пока не пришел старик и мерзавец: взял палку неба и верхним точным гвоздем выколол солнцу глаза.

Спорьте, сволочи, но чтобы тихо, чтобы на земле — покой! И они стали шушукаться, с прежним бешенством, а о чем — не слышать. Две хламиды шептались яростно, из которых одна, быть может, и впрямь выше солнца. Как знать?

* * *

Фадр одевал женщину цветами. Он укладывал их поверх волос так, чтобы зеленое съедалось желтым, а желток пожирался багрянцем. Он сидел в кресле без лишних движений. Работы предстояло на вечность и более.

Было за полночь. Фадр поднял голову и в окне встретил глаз. Ему стало не по себе. Он вытащил из кармана платок и, протянув руку, смахнул глаз в корзину. Пусть тут хранится. Потом обернулся к окну. Там стоял человек без глаза, муторный, как штормовое море. Смотрел молча, не видя и, значит, без выражения.

Фадр задернул шторы и снова уселся в кресло. Принявшись опять за работу, он подумал, что ее у него непочатый край и что невидящий без глаза человек будет терпеливо ждать за шторами окна, пока на голове у женщины он не достигнет цветочного совершенства.

* * *

Я не выношу крика. Но с бородой по пояс, он вопил в кустах, как помешанный. Тогда я выставил охрану из двух рослых скитальцев, и он подавился собственной спазмой. Я перевернул

страницу в "Лестнице Печалей" и следующую пробежал не глядя. Стемнело.

Во мне было больше тоски, чем мог навеять этот задохшийся, но его крик стоял в ушах предпоследней нотой, которая потонула в сумраке спазмой. Я о ней думал, надеясь мыслью побороть тошноту.

Тогда один из охраны, рослый скиталец под шлемовидным змеем, почтительно приблизился и глазами показал на закупоренный сосуд. Как он тут появился — весь в тине и с бородой по пояс, схваченный намертво в горле пробкой, — того я не выдал бы и под пыткой. Я выслал охранника наружу и, не решаясь открыться или раскупорить ближнее, глядел в упор на позднюю весть захлебнувшегося.

Несмотря на свечи, затеплившее мое тело, мрак ползал вокруг безнаказанно. И единственное, что им было под силу, — это донести сквозь мрак озарение на шорохи треплющейся страницы, откуда веял холод печали о задушенной в кустах вине.

* * *

Фараоныч не спит. Его заперли в каменном гробу, но он не дремлет и знает разбойников наперечет, которые грабят рядом. Фараонычи любят так: чтобы во тьме была ясность. Пусть теснота, пусть не шелохнуться — что ж, еще лучше: не спугнешь пришлецов и задашь им знатного перцу, когда настанет черед расплаты. Ты можешь, бес-тоlochь, похохатывать вволю, но он-то, лежащий,

не усомнится, что песьеголовка с ним рядом не дремлет и задаст им такой перцовой отравы, какая не снилась им и в самых сладостных снах. Гуляй свободно, разбойничья бестолочь! Она вас не минет, чаша сия.

* * *

Фамир не любит Кармилла. Кармилл недолюбливает Хронта. Хронт не питает симпатии к обоим. И все трое ненавидят певца Тризамда.

Когда певец Тризамд, наслушавшись сладких слов, столкнулся с их камнем ненависти, он не стал огибать его, как преткновение, а взошел напрямиком на страшную вершину, чтобы стать выше единого чувства Фамира, Кармилла и Хронта.

Внутри камня согласия не было. Там кипятились страсти и тесное противоборство. Но верхушка была светла, как гранит, на котором певец Тризамд хотел бы стемнеть, догорев с закатом.

Певец любил шаровую листву, он любил шаровидные тучи, а шарообразное зарево неба жгло ему сердце, как радость воздухоплавательного. И вот, его ненавидя, три недруга были в злобе нужны: они высекли на всеобщей скале шар и молнию одновременно.

* * *

Я нарисовал на полу мозговую карту. Мальчик Феократил пускал по ней паровозики и безводные корабли. Одна мозговая щель треснула, когда колесо паровозика вышло из колеи. Моя

голова разрывалась от боли. Я бы не закричал, а сидел, раскачивая головой, как лилея, если бы не вошла женщина Диплодокка, которая имела на меня права. Мозговая карта ходила у меня в глазах, как помешанная. Доктор, появившийся вслед за женщиной, нажал на кнопку. Эта кнопка давно красовалась у меня на лбу, хотя я ее не видел и о ее назначении не догадывался. Мальчик Феократил тоже был к ней равнодушен, потому что давно привык к мысли, что так устроена половина голов. Зато ее злобно разглядывала женщина Диплодокка, имевшая на меня права. Эти свои права она хотела вписать в мозговую карту, которую я саморучно нарисовал на полу. Нажав на кнопку, доктор кивнул женщине и присел в мягкое кресло. Мальчик Феократил пускал не глядя паровозики и корабли. Никакой защиты. Лишь соседская кошка вопила на лестнице, потому что ее забыли хозяева, заперевшие дверь перед сном. Но моя голова раскалывалась, и я был не в силах подняться, чтобы ее впустить. Никаких свидетелей. Женщина Диплодокка, став на колени, принялась выравнивать мозговую трещину. В левой руке она держала сосуд, чтобы наполнить водой ложбины и вписать на меня права быстрыми детскими кораблями. Тут паровозики захлебнутся, и все пойдет без задоринки, по мореходной господской воле. Во мне не оставалось ни одной мысли, кроме сознания боли, а также бессильного сопротивления женщине Диплодокке. Мир на ней сосредоточился и работал вхолостую. Тогда я закричал благим матом и не по-человечески. Кошка на лестнице умолкла, прислуши-

ваясь. Ее свидетельство кое-что значило. Белый доктор приподнялся в кресле. Женщина Диплодокка злорадно смотрела на кнопку. Я взял за руку мальчика Феократила и, не в состоянии говорить, показал ему на искаженное злорадством лицо. У мальчика сделалось обморочное выражение. Но он, по-видимому, преодолел страх, потому что бросил свои паровозики, подняв затем грозный кулак. Мозговая карта у меня в глазах остановилась. Я схватил двумя пальцами кнопку, вырвал ее без жалости и бросил доктору в глаз. Кошка заверещала снова. Доктор выдернул из-под себя кресло и, прикрываясь им, как щитом, бросился вон из комнаты. Мальчик Феократил опять нагнулся к своим паровозикам и суходвижущимся кораблям. Женщина Диплодокка стонала. Тогда я без лишних слов взял у нее сосуд и, не расплеснув ни капли, поставил на пол, у самого края мозговой карты. Казалось, что карта пошевелила губами. Но это было только видение, потому что она изображала пустыню и давно привыкла к безводию. Женщина Диплодокка превратилась в горестную статую, лишившись последней надежды вписать в мозговую карту свои на меня права. С дыркой во лбу, я думал еще упорнее и упрямей, и самодвижные паровозики мальчика Феократила запечатлевали разнообразный ход моих мыслей.

* * *

— Кипятущий подавится, — сказал корабельный кок.

— Ваш ли котел? — усомнился соревнователь.

— Подавится, если вздумает, — сказал корабельный кок.

— Ваше ли варево? — вскипел соревнователь.

И три дня с ночными промежутками две парусные колдобины рыли земляной колодец. Много вырыто, еще больше сброшено, а воде конца не видать. Две колдобины резали воду и рыли наперегонки.

Тогда, по прошествии двух ночных промежутков и трех чуть просветных дней, вышел на крышу плывущих капитан роющих. Он оглядывал спины вокруг барашьей земли, как будто искал замочную скважину. Но высмотрел только глубокий забор, где сгрудились тесно и рыть было невозможно.

— Кипятущий подавится, — сказывало отсюда.

— Ваш ли котел? — вскипало с той стороны.

Все в порядке. Остервенелая точка. И он возвратился, пасмурный капитан, в свою каютную тучу, где бросил с грохотом об пол землистого цвета лицо. Упало, обмерло, позеленело.

Он это сделал в порядке капитанского безразличия.

* * *

Голова кошки бежала по воздуху от собачьего визга. Ее схватили на лету пальцы крючника, но она цапнула руку зубами и скрылась в гробовой подворотне. Собачий визг туда доносился, пе-

рековерканный каменной призмой. Истошный и плоский, он вдруг становился впотьмах как песня. Голова кошки повисла на мгновение, слушая злобно чужую мелодию тела, но рука крючника тянулась за ней с кровоточинами, и долетевшая нота впилась, как подкошенный собачий клык. У головы не было ни шеи, ни тулова, а четыре ноги под шкурой висели на крючниковой хозяйской стене. В них стоял зуд без движения недостающего тела, но голова бежала по воздуху самостоятельно, только бы переломить собачий комнатный визг.

* * *

Кое-кому обещали визитную карточку Навуходоносора. Препятствий, впрочем, хватало. С севера не продерешься из-за непроходимых лесов. На юг не подашься и вовсе из-за непроходимых границ. Итак, леса и охрана; но это не все. Еще надо преодолеть времена. А промежуток изрядный: от юга до севера — сотни, а то и тысячи, лет. Помимо всего, кое-кто сидел прикованный к стулу; талмуд раскрыт, а руки привязаны, ибо страницу должен знать наизусть, в знак чего оковы и привязь завершались чугунным ядром и бронзовым ядрышком. Так что страница — не проживешь.

Больше того: одолей он препятствия, климат юга сожрал бы его с потрохами. Пламя и сухостей. В один миг. Шкура медвежья сгорит.

И как если бы этого было мало, с визитной карточкой вышла заминка. Надо набраться тер-

пения. Пока еще свяжутся с Навуходоносором...

Впрочем, кое-кто надежду хранил и обещанию верил свято, потому что о карточке вспоминал беспрерывно, как будто встретить владыку Юга, хотя б он и стер его в порошок, значило переродиться и воспрять навсегда к чужедальной подвижной жизни.

Так однажды и вышло. И вопреки ожиданиям. Но что и как там было, на юге, — о том в талмудах не сказано.

* * *

Трое диадохов торговались о том, как поделить вселенную. Они сиживали над ней с тысячелетними столовыми ножами. Сумеречными. Поблескивало. Темнело, темнело, но солнце закатываться не думало. Стол грубый, окошко муторное, разговор тупой и желудочный до тошноты. Вселенная была в виде холодца, а сами они — розовокожие свиньи. Когда пришел с топором хозяин, они все еще торговались, не подозревая, что вселенная пойдет на закуску, а они, диадохи, — без первого на второе.

* * *

Бешеный несчастливчик валил в кучу. Ученые бороды разгребали. Бешеный дурачок валил в бешенствующую кучу. Ученые бороды обжигались, но тянули руки с зубастыми крючьями. Бешеный шурумбурум... впрочем, и этого достаточно, чтобы увидеть насквозь дурную бесконеч-

ность, которой давно пора изувечить морду, упав на бешеных и ученых, как бомба.

* * *

Чиволек увидал гвазду. Напротив — четверо с рыжим болтом. Чиволек стоял с красной скорлупкой. Четверо грызли, как неприкаянные. Чиволек вдыхал и миндальничал. Четверо маялись в поте лица.

Светки. Стенка. Четверо снули. Болт чернел и поник. И один чиволек, большой-превеликий, радовал в небе амаленькую гвазду.

* * *

Идет мальчик, смиренный, махонький; бабушка-старушонка ведет его за руку, чуть повыше ростом.

Когда прошли, глядим: стоит фонарь, и на нем тело раскачивается. Сняли мы беднягу, фонарь дрогнул, а на груди у несчастного фамилия значится: "Петрову смерть за неверие в Коленина". И все тут.

Мальчик махонький за углом скрылся, бабушку-старушонку как ветром сдуло, а вдруг подходят и забирают фонарь в качестве вещественного доказательства. Нести близко — в двух шагах самое главное учреждение, называемое Пирамида. Двое с усами. Должно быть, писцы.

Теперь снимают с фонаря наши отпечатки пальцев, чтобы доложить усопшему фараону.

Я вижу все это со стороны, и совсем не

страшно, потому что дело происходит на том свете, только жалко до слез беднягу, которому и тут подвернулась законная гибель.

И, полюбив немедля махонького прохожего, я ненавижу люто, на том и на этом свете, их подзаконный офонарелый мир.

ГОРОД НА ЛАДОНИ

Я живу в другой жизни, куда тебе входа нет.

Обиде плюнул в глаза. Помирай. Я рассек наше пламя ладонью, как змеей топора — сиамское темя близнят.

Больно. Справа — жжет солнцего дно. Укатилось за горизонты ледком, но шепчет, шепчет ожог.

Слева — обрыв. Я вижу сумеречный южный город, в котором, белея шкурным домишкой, таится не твоё детство.

Молчи, справа. Не петушись. Мне пора отыскать тропину с обрыва, куда тебе, отлюбившая, прохода нет. Всегда угловато, всегда на лету, всегда, всегда отстаешь. Молчи.

Чтобы заговорить этот шепот, нужно выкрикивать петушком-бодрячком. Было нужно им. Поспеть за солнцевым донцем. Но оно укатилось, и, не склоняясь, город сумерничавших поник.

В другой жизни видишь другие сны. В этой — крышка дотошным. Изнанка их обманула. Поверхность бритвы, до неразлучности с потусторонней сестрой. Режь. Узнавай по живью. Ни ты, ни я, разнолицы, не предугадаем, с юга и севера, чьи глаза она полоснет.

ТВОЕ КРЫЛО

Крыло гелдерлина беспомощное по своей причине
необъятности
меня испугнуло на заре в шелку робкую в глиняную
потому что я видел нынче под вечер и мой сын крошечка
как на чистых хотел прудах носорожище утолить черного
спяну лебедя
был он в стоптанных зеленоват башмаках и с пожитками
без примет возраста
протягивал губы сжав полосатые иссиня над зябким до
крови облаком
за которым душа его холодея вдогонку распахивалась
вулканическим ртом
и от черной страдала от недостижимости клюва черного
под твоим беспомощным

МЫ ВИДЕЛИ

Мы видели ангела он к ней лег и взял губами
ее сукровицу
оставшееся синеветь на земле угодно голоду
сказал и смерти
был тощ подобно как в бабьей руке спокойная
хворостина мести
и выражался грубо словами известными скотному
двору
он пришел расчистить для коровьей припляски
хлев на зиму прочь вышвырнув городских
с пересохшей кровью на улицы суховея
где невысказанное обманчиво и запретно как
в голой пустыне фикусы и дворцы

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

ослепительные кикиморы сидели на горке мусора
веник снял с них последнюю рубашку
под которой открылись голые коленки дерьма
паровоз гладил их костяной рукой
кацавейка спела им птичкин чирик
и сам господь веснушчатый и с поросячьим носом
удостоил их шапочного благословения
а когда
когда их волосы покрылись старческой пылью
и жучок из соседского гроба поманил их пальцем
кикиморы взялись кружком за говеные ручки
бессмертно
чтобы сплясать отходную венику-миroeду

НАВАЖДЕНИЯ

1.

захар федосьич смотрит на филарета петровича
и видит варвару макарьевну беседующую с попугаем тишкой
которая выговаривает негодяй ты мой голубчик тишечка
ты зачем сиротинку грызешь в клюве золотую жердочку
не потому ли что выдрал глаз у сестрицы аленушки
и бросил в съедобную мухам кучу на обозрение

филарет петрович в свою очередь смотрит на захара федосьича
и видит аглаю сидоровну плюющую в собачонку митьку
мол зачем наложил в тарелку непотребного крошева
и завываешь гордец об удалой песню раскрасавице
которая бегаёт лелька с легавыми и подворотными
а тебя худой мопс величает болваном и кроет уродиной

и как взглянула аглая сидоровна на варвару макарьевну
и поглядела варвара макарьевна на аглаю сидоровну
и увидели обе вдвоем ах вы райские в полушалках луга
где прогуливается там павлин с надутыми губками
в этих губках изумрудный переливает свиток звонкими буквами
которые поводя с усмешечкой плечиком

говорят страшенные слова и погибельные

амба!

2.

серпентина мелентьевна ручкой кресла обвила любима харитоныча
и усадила филейную на коленки пасть подушке с розанчиками
отдышись следователь по особым делам перед смертью рассыпчатый
и понеси благолепно к господу натруженные сиднем косточки
сегодня любим харитоныч празднует орден на пышной воинской груди
и верную потчует серпентину чаркой по гроб мелентьевну

слава!

3.

хороша птаха мальвина гороховна
у нее на головушке десять несжатых снопов
ноги держат бревенчатые крестовину с наличниками
где он тычется спертый дух ресницами в две колдобины
в ручке сиреневой у ней книжица данта ерофеича
по чистилищу в бедственном как есть несомая направлении
и глотающая на колесах шатаясь листочек за листиком
слезы райские сдуру о заморском казенном имуществе

пекло!

4.

симеон татьевич вонзил руки в егорку симеоновича
и оттуда выскочила канарейка в малиновых сапожках
хороши у каналы под клювиком маршальские усы
а не грохнешь бронзовым на всевышний гнев колокольчиком

разгорелось сердце у симеона татьевича
и похолодело сердце у егорки симеоновича
молчит всевышний перебирая птичку гнев по перышкам
и под кепочкой страх красота дребезжит стервец переливчато
слушай!

5.

течет реченька вихляет собаченька
топочет смертинька бубукает дединька
а бежит по морю пароход захарович
а за ним любушка глядит суша власьевна
а с неба курочки плюют белой слюной
а в коробочке тьма ну и черт с тобой

ладно!

С ЛЕВОЙ НОГИ

надевайте умирительную рубашку
у меня в глазу торчит пуповина
на которой болтается деревянный предмет
расшибаясь копытами в поморское дышло

надевайте шапку с колокольцами на затылке
потому что в нем сидит на корточках дедка
выручай брат кричит гу-гу в темный лес
и колотится об пол костылем без просыпу

надевайте подштанники с лампасами генерала
и пришейте саблю с чугуновой подковыркой
пусть гремит и командует в четырех соснах
лапотными
а с вами разутюженные мне делить нечего

ТРЕБУЕТСЯ ДОЗАРЕЗУ

время заговаривается у него в желудке пусто
а человек шатается и ищет прорву
снимите-ка наклейку с огнедышащей груди
и пусть разорвется спиртовая банка

времячко балясничает и машет оглоблей
а человек провалился по гроб в репейник
пускайте колечики ему в гриву и в хвост
чтобы с двух концов дым загудел храпом

безвременье топчется как шпик в подворотне
а человек бежит в пламени на край света
швыряйте вдогонку фонари и люстры
и несите голые фитильки следом

время безвременное и время топорное
а человек остр как на костре ножик
распалил бревно так и вьется жгутом
гоните подснежники в навечную печку

из сугроба колымского время петъ да плясать
разгадки не видно а человечина лопнул
подайте говорит сюда комету свинцовые удила
чтобы дробь в глаз брызнула пещерный

пусть дробно сложенное развалится на кирпичики
а дробно понятое в мозговине свищ
у свиньи сидящей по имени временщик
на троне базарного за полушку сфинкса

МЕЛОДИЯ

Морису Бланшо

они подвешивали меня к болотной проволоке
и вбивали мне снежные в грудь гвозди
и бормотали искоса поглядывая трататин-тратата
не задавая возлюбленных до смерти вопросов

я без жалости вынул им из груди сокровенное
но они укатали его в глянцевитую шубу
и приплясывали на скрипках оловянных кругом
которые подмякивали как полынья в сугробы

я готов был отвечать и на плевое и незначущее
но они втыкали мне снежные гвоздочки
и подвесив к болоченной проволоке говаривали
трататин-тратата на зимнем бельмесовом

тогда я сказал им дэ и задохнулись их рты
и на язык мне легла тряпица без имени
которая на никаковском значит молчальник в таковых путях
хотя нет во дворцовое ему входа зимовье

где подмякивают оловянные закону неписанному
и катается глянцевитая без сна и без просыпу
потому что заморожено твое лицо глядя искоса
как полынья в сугробы опрокинутая неба

ЯРОСТЬ И ТАЙНА

моя собака осатанела и моя кошка смотрит
вепрем
мои дети разбежались на все четыре от моего
кипящего сглаза
господин полумира швырнул меня в чугунок с
отваром
и некому дунуть с вышки чтобы задуть мой
взбеленившийся пожар
в меня обрушивает косматины шапка ледовитого
моря
и велит плюй затрещинами бараньих монбланов
а я отвечаю шапке и господину полумира
кричу айсбергам айсберг но без слезливой
блевотины
до хрипоты людям кричу слышите слышите
убирайтесь к дьяволу дайте с вами стервы
дайте вместе помолчать

НАЗЫВАЮ ЕГО МЕЛЬЧАЙШИМ

Я скребу зубовный скрежет любви. Желтый камень курильщика расцвел на нем китайской пагодой. Я вхожу в нее, потный от чада, который вдыхают до смерти и пупка ревнители наслаждений. Матушки! Где ваш, британцы, якорь спасения? Лао-цзы, дырявый насквозь, не верит, дичок, пришельцу. Он сморщен, как падалица. У него кожа орангутанга и когти отросшей без дела воли. Смахнув шапчонку, пустой китаеза, однако, кланяется три и еще три долгих разочка. Я вижу его халат, отливающий зеркалом моих сидячих поступков, и скребу дубьем, весь в поту от чада, скрежет его журчащей каменнолюбой груди. Не прошу счета в расплату за помешательство жизни, но хочу вконец окитаиться и карябать безделкой кисти пернатые борозды в небеси.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Один человек, а может быть, это я сам, исхудал до того, что руки стали синенькими и прозрачными. Захотелось ему своей худобой пожаловаться, потому что сидел целый день запертый в комнате, которая насквозь протухла от табачного дыма. Комната была первозданная, а точнее, как говорится, цокольная, то есть вровень с землей, так что чужой двор как бы рядом, и в этом чужом дворе, где якобы души не видать, стоит хорошенький зеленый столик со скамейками. Открыл он раму, вытянул руку и положил ее, синенькую и прозрачную, на этот самый столик: смотрите, мол, чужие люди, до какого состояния худоба проклятая довела! И тут оказывается, что чужой двор не вовсе пуст, а прохаживаются разные в невидимых углах, где один к другому не подойдут, но спорят издали о чем-то жаростно и как бы не по-человечески. Как бы все понятно, но язык чересчур чужой и вроде не настоящий. Ну, спорили бы, ну, лопотали жаростно, да тут одна бабища видит, что на столе чужая рука лежит — вся синенькая и прозрачная. Господи, думает, до чего может довести худобу человеческое мясо! Надо же было так изощриться! И вот, не прерывая в запале спора с какими-то двумя космачами, которые дежурили тут же, каждый в своем углу, она для пущего доказательства хватает топор — и хрясть эту синенькую и прозрачную ру-

ку! Глядите! Ведь говорила вам! Глядите, черти, как она, кровь, хлбыщет! И она, конечно, была права, кровь из обрубка в самом деле хлестала, но какое отношение имело это обстоятельство к сути разговора, о том она начисто позабыла. Ведь кровь-то фонтанила! Да еще как! По хорошенькому зеленому столику... И вот лежит эта самая рука, синенькая и прозрачная, а ее кисть валяется рядом, уже сизая, но еще почти зрячая, как отрубленная голова. Смутно стало человеку, вынесшему свою руку, чтобы показать ее удобу в чужом дворе, но болело до того, что хотелось выть, а не думать о распроклятой бабище или, тем более, поносить ее стоящими последними словами. Даже не было ни силы, ни отдыха, чтобы подумать о том, что свершилось непоправимое и что для кого-кого, а для него-то эта словно бы отрубленная голова как раз и является в прокуренной до одури комнате самым безнадежным доказательством всему своей чуждости.

НА СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ

она не топала на меня ножищами и не била сундуком в грудь
не карячила рожи прикрываясь утесом железного
с булатной яростью хобота
не выдергивала зубы из своей вечной челюсти
чтобы швырять мне их как аршины льда в
побледневшее сердце
но стояла простоволосая под окошком в смущении
и босая с улыбкой блуждающей в детской травке
не думая совершить злое а сгорая на рассвете от
неминуемого и таимая бледнорозовым платицем
от моего дикого взгляда только бы поскорей распрощаться с обжигающим
и обратиться к прохладе не своих садочков но
посаженных кем-то для приснопамятного спокойствия
в которое будьте уверены она слава богу уже возвратилась
девчоночка задув излишнюю свечку гóря на забывающем
меня подоконнике с двумя вмятинами недоковыренных
глазенапами слов

Понимая, что жизнь — это люлька, он наконец отдался вовсю раскачке ее загробной волны.

Понимая, что волны — небо, светящееся под землей, он позволил им уносить себя на смерть жизни, проваливаясь бескрылой скорлупкой в подвесную толщ, которая лишена даже пенного клетота.

Понимая, что лица теряют в ней всякие любовные очертания, он, возлюбивший до изнеможения сердца, отдал его, каждой птичкиной веточкой, бездыханному в ласточкином прозрении дну, откуда увидел крылышки неба под страшившей всю жизнь понапрасну гадюкой вспенившейся земли.

НИ ЦВЕТОВ, НИ ВЕНКОВ

эти люди были как смертный грех в молодости
бледны и как плевательница перед смертью
зрячи
два раза коснулись концом сапога фекальной
заразы
в которую выброшен плюхатый медведь за
ненадобностью с изуродованным чепцом
потому что галчонок их раздался свинья и жует
требуху за четверых и вот-вот стервец пода-
вится воблой
они видели чище небес над собой дирижаблево
дрогнувшее серебро
в молодости перед смертью
но не поклонились одиночеству птичьей блесны
заброшенной в халдай-холодок прозрачным
человекозверем

И НАШ ГРОССБУХ

три уха и пять насекомых винтов
четырнадцать противников смертной казни
покрикивающих гоп! на пуговики топотом
осьминога
двадцать семь дутых солнц
на крылечке числом одиннадцать смейся
в сопровождении шестерни строгой по имени
ариадна клавиша
из сто девятнадцатого музыкального инструмен-
тария в списке краденых и драгоценных по
гроб камней
зуб за ночь
язык пожарищу
хрясть
а чакона в банке
поделом
головокружение от успехов
речь товарища перекрестного на пороге встать!
одуванчика
и тысяча девятьсот восемьдесят четвертый вздох
по несбывшемуся
в первый и последний раз

МЕЛОМ И ГРИФЕЛЕМ

Поэт здоров каждой пробоиной в своем астральном дредноуте. Каждым ушибом и вывихом в этом пловучем гнезде. Он здоров безошибочно и беззащитно, пульсируя в такт под топориком неба, как океанский кровавый плавник.

Одна человеколошадь превосходит силой сотню человекожуков. Два человекорасстояния превосходят сплошь тысячу человекодней. Три человекострочки возвышаются над миллионами человекотрясин. Но нет такой человекомельницы, чтобы перемолола единственную под звездами человекоплеть.

Не для того, бессонный, чтобы тебя хлестать, кошачий визг на дворе стервенеет.

Сварливая кухня, когда ей за полночь зажат рот, умудряется бормотнуть несусветное.

Бесцветный голыш, катясь под откос, вспоминал о пинке и, казалось ему, видел солнце заката.

Бычья сперма чище свежеванной рыбы. Грозовая жесь глуше скрежещущего под пыткой. Ребенок — вне сравнений.

Бросая камень в ближнего, не следи за траекторией. Если бросаешь в дальнего, зажмурься крепче. Брошенное попадет непременно, а угодившее станет горой, которая, в свой черед, породит кому-то нужную мышь.

Виселица на весах правоты угрызается без повешенного.

Брат убивает брата. Не ново. Сын продает отца. Старо. Но где видано, чтобы мать к обеду пуповиной резала горло младенцу?

Оскорбительно кланяться в ноги жирафу, но отдать на заклятие вшам ухо или спесивый глаз — в этом нет ничего зазорного.

Едва губы коровьи вытянулись, как под ними, над самой травкой, прошмыгнул Млечный Путь.

Слово короче звука. Звук проще выеденного яйца. Но и такое, на вес, на слух, яйцо все еще

дороже слова. В котором, однако — без дутой утайки! — больше видимого, чем могут в ответ предложить слепые морщины вселенной.

Кричать незачем. Даже моль ухитряется бить в барабан.

Крокодиловы слезы ивы. Облака не верят. Только озеро легковерно всерьез.

Учись мудрости у таракана. Бежать по прямой. Невозможность? Повернуться бочком и бежать по прямой.

Ты учишься мудрости у таракана, но *твой* таракан — упрямец: не растает с дырявой шкурой быка.

Кровать с балдахином для какаду, который еще повторяет заученные из уст чужих предков слова любви.

Морганатический брак: клавиша с молотобойцем.

Мой сон — провал памяти. Твой сон — провал памяти. Его сон — такой же провал. Там ли встретимся? Как назвать эту жизнь? Не лучше ли,

мамонты, по-ледяному очнуться, чтобы взглянуть без окна — в упор! — на тулупы домов, этих единственных жителей проснувшейся *от человека* земли?

Лучше. Можно. Стоит. Пора. Но твои, Франтишек К., глаза...

Эти призраки позаботились о телохранителях.

Приговаривая, что смерть стоит за углом, он не удовлетворился, предусмотрительный, лабиринтами предательства, а вбил посреди них иудин сук под сверкающей празднично вывеской.

Безраздельная власть каннибалов, которых народу, гуськом у котла, предписано чтить как вегетарианцев.

Не ищи и не требуй оправы. Если все твои струпья похожи на самоцветы, это еще не значит, что под батогами ты сподобился участи изумруда.

Кто ближе к истине: лягушка или телеграфный столб?

Эшафот по воскресным дням открыт для игры в пинг-понг.

Скажем так: мысли посмертны, и за спиной оживающего солнце глупеет.

Легкие, захлебнувшись пожаром, наконец прозревают разгадку. Но увы, как всякий вулкан, они лишены чувства юмора. И тайна сгорает бесследно.

”Куда их несет?” — сокрушался мудрец. И второй, понимающий, согласно кивал. Но третий мудрец, глуповатый, не участвовал в разговоре: он забрался в самую гущу, которая с ревом тащила его к стремнине, и воображал себя лодкой, оставаясь гребцом.

Дышать трудно. Места маловато. Раз уж согласен с метемпсихозом, выбирай бактерию.

Если самолет трепещет перед Зевсом, а подводная лодка молится Посейдону, еще не все потеряно для оглохших и слепнувших экипажей.

Последняя весть с мороза: слон, подавившийся незабудкой.

Глаза стеклянют. Не торопись. Очень просто: это позорный мир сбрасывает колбасную шкуру, чтобы предстать в ядовитой до боли рыске.

Пустыня не терпит соглядатаев.

Ваша воля — останьтесь без вожделений. Ваше право — урезать волю на энное число градусов. Ваша власть — рубить или не рубить с плеча, которое давит смирительная рубашка. Но кто вам подарит зуб пустоты, в любой соринке душевной земли открывающий горы?

Полюбите злость. Она вытирает тревожные слюни у страшащихся ненавидеть. Эти слюни — не от избытка любви. За ними таится кустарный удав.

Поэзия — кратчайший путь между двумя болевыми точками. Настолько краткий, что ее взмахом обезглавлено время.

ВЕТЕР КОРЧИТСЯ...

ветер корчится на столе хирурга
у которого пальцы в багрянце экземы
роняют ланцет как облетелый лист к ногам
подойдите манечка я вас поцелую

пока звезда несусветное лоплопочет звезде
с поросычьим выражением мол все обойдется
словечко такое мороз вытопчет твою мать
подай сюда в объятиях талые горы

лузгая их с пригоршню эх раздайся земля
гла-адкая судорожного найдет перчатка
боксера о-сень ли куксится в феврале
но глаза твои шерсть ей запорошить дудки

поцелую вас манечка подойдите обвалится
ланцет хирурга на цементный с багрянцем
над которым взгляну только потолочек
марлевые облака
да ветер корчится без помощи нестерпимо

О СВОЕМ

Я спою вам пелесню
милы
о перекатном во поле цокале
виденном с глаз
долой
под мойными ветвяками
я спою вам томилы
разок
пелесню над заплесневелой
ливой
буду певать
о перекамыше во поле
цокале кто ни о чем
я разок о своем
под мойными
с гривами
отвислоухими с глаз
буду певать
над ливой
под ветвяками повинными
милы для вас

НЕ НАДО

гороскоп клопа и череп слоновий
ветер спел га-га на птичьей трубе
прилетели мальчики эй бить тебя будем
черная-длинная АВ

головокружительна сеть вьюжин
сердце затемно полоснули стрижи
улетайте с-пальчики ну кому нужен
флюгер в беде

В ОЖИДАНИИ

Я один, я с тобой, я такой же, как все. Ты — это я, но которому присобачена матовость косо-пузого моря: купец купцом, и багровьем похлестывают глаза. Мы вместе, такие, как все, на берегу океанского моря, которое ходит в широких штанах и не знает, купчина, куда приткнуть свою шалую муху. Я хватаю картину волнообразия, я срываю ее со стены и рву в клочья беспламенное расхлябье. Куда подевали пирейские мачты? Кто там засыпал их северной волосатой землей? Ты не ответишь, такой, как мы все, но матовый, как мое в морях отражение, ждешь-пождешь за купецким багровьем глаз, когда же она, дребеза, разразится.

НЕ ТВОЕЙ, ВОЛНА, МОЛОТИЛКЕ

*без навечных устроев
и революционной вспыли*

И бисером обе подушечки вышитых детишек англеглоподобно. и безо крылышек маятниково сюда-туда чающее под подушкой чукчело. и потерянно во сне на даче пока сумерничал искавших кота с утопленными вы не видывали котенятыми. и державшие их поруки с наперстием которые ведут веды к раскосс-амму привычной исподволью взгляду. холодноватому как и в себя глядящему овал такой резца боттичелевский. внутри колечика вспыхивающему а вне показывая норвеги острр ай-ейшего равнодушия. ко всякому на том-этом свете лишнему где ничего нет кроме лишнего. и совсем уж на кой-чему журу страниц обнимающую крезовые без днища пустовороты в кокоторых ахает эхом ка-некого голоса. вместив с бы-бочкой и заодно-но с обручьями без поднатуги стягивающими в-стременна давно и не столь каминувшие откуда глазект через тебя требующие вы-сказать нуну высказаться. ужежели свое сказавшие но как ни будто чужие уши недослышали а гугубы шевелят удода не то ища еще доумения не то стыдясь признаться в недостаточной масти головы и сердца. и все эти не со злобб нет виноватые ушегубы и недостаточные сердца головешки кому котко-

торым вот из летошнего дорога по осени со запинкой двух зайчиков каракатящих наперехлест. под я-якобы пальмиями видеديمо посерелых от скуки дворововых кленов над скалолумейками седых и трясущихся и уносимых влагагой дальнорской травки предместий с их раскулаченными до-половинами чьи крыши то-то сворочены и глазеницы стели на рырьжем кирпиче взамен чтоб ему пусто торгующего напропалую брр рьяно. и сизые прожилки лизы ко-такими торгуют они барахольщики передавая из рук в руки дыму и щуп ловя воздуха. и все шалкое жаткое пропадудущее что в этом единыственном без врата стояло не схваченное полюбовно время сучьими зубзубами. все попарно утащить с собой на палубу чтобы вынесло как водяноева смекалка после гоп твоего речугина топа на араараатскую РШШШ...

*без навечных устроев
и революционкой вспыли*

ДОРОГУ!

Н.И.Х.

освободите люди дорогу
он будет выписывать над головами коленца
земля непутевая его не держит и пусть провалится в ка-
наву с нечистотами
воздух вулканический ему нипочем и пусть расступается
сея панику до горизонта
освободите ему поскорее дорогу среди патлатых облаков
столетние люди
он сейчас будет выдергивать им злополучные космы

ДРУЖЕСТВО

Ослепительны взгорья, откуда вижу далекое, но стынувшим под барабаном глазам отказано в радости гористого цвета. Грохочет соседство с натянутой кожей палочных казней, но среди фригийских, а может, и гаерских колпаков не доберешься к встречному взгляду равнокрылатого до бесподобия друга. Затерявшись в толпе бьющих с гиком и режущих космоплан на кусок головы и тряпичное тулово, он не решится выдать таранным ахом сокровавленность своей летучей тоски. Я мог бы нагнать ее только в низинном далеком, где рвутся с хрустом пунктиры дружества и даже в трезвости послеказненной не суждено, боюсь, никогда встретить с глазу на глаз его орлиную холку. Помогите же, силы подсолнечные, смыть этот будущий, за горьей дымкой туман!

ТЫ, СОЛОВУШКА...

Ты соловушка не соловей
спяну воробушка не разбей
возьму плетку
ударю по переносице
уйди с миром
не смущай побродяг
не горлань бесхлебный дурак о ворованном счастье

ОТПРАВЛЯЮ НАВЕЧНО

Чужие желание ловить не нужно. Я расскажу тебе друг мой как будут со мной расправляться.

Мало того что мне не дадут жаркого и станут плестись за мной по пятам как привязанные они еще выдумают что я присутствовал некогда в четвертьмосковском саду где совершил непотребство над тремя волоокими странницами и будут звонить днем и ночью каждые пятиминутно по телефону или вовсе без всякого.

Я не сдамся потому что упрям и привязан к своим бумажным листам как помешанный но они впишут мне в паспортную книгу запрещение говорить с любым который вздумается будь он хоть умер уже три с половиной десятилетия но еще как бы ни уколошили жив в моей голове где расположено мое заточенно думающее сердце.

Поверьте друг мой и все остальные совиновники что моя голова держится высокой прямизной как верхушка тополя и рожденная южным поветрием видит за сто и тысячу дальше чем позволяет ей верстовая в этом клочке земли моя ограниченность. А поэтому я различаю их без шепота приближение по сумеречным дорогам куда брела вольно давно отставшая от пыльного стада моя заветная мысль. Там расставлены столбы по которым исчисляются нивесть для кого впустую прожитые четвероногие и лопоухие годы. Но они минуют указатели пойдя по обочине плутова-

тью чтобы подкрасться вернее тишком к затылку откуда я выбросил прочь в канаву всякое помышление о святом безумии. Потому что безумствовать надо только вперед где святости не дожدهшься а единственно плюют в лоб и надеются стереть в порошок.

Я согласен что порошкообразный вид более пристал этому распроклятому выродку любви-ра чем один лишь который видится холм с костями торчащими из прошлого или наперед лелеемого позапрошлого. Но я не согласен и не дам своей воли ни на какой в нем иной распыл кроме ста тысяч с лишним без любого надвышнего комет или иначе говоря на многокрасность разводов пламени и головастого затвердения. Вы можете подкрадываться откуда надумает ваша борзая на дальнем поводке глупость но я не дамся расправе ваших округло мыслящих рук с черными от нетерпения ногтями.

Был ли я в четвертьмосковском саду? Я не видел его от собачьего века который вписан в ваши настольные и менструальные с позолоченным календари. Вы можете непотребствовать в нем как только в кусты покумекает нерабочее время ибо штаны просижены и вздуто пекло багром но у меня на счету минуты полеживают в кассе времени откуда на выдачу транзитных билетов удалилась кассирша. Попробуйте уговорить пустой стул хотя и не отрицаю что видел действительно три волооких зада но только во спящих и которые белесы молочно с кротостью поджидающие кобелей когда их выгуливают без ошейника с той стороны наяву. Еще день не пришел и два

эти обстояния разделены были как есть посейчас валявшейся с дикой строгостью плеткой чтобы из сна в тую мать не выглянуло сквозь стенку вождедующее молочко хоть ты лопни. Как будто пресвежее в баночке только что выдоено из сосца и хранимо к которому эх губами прижаться бы с просыпу пока беззубые. Но проснутый непрощенно из-за шторы копящимся солнцем увидел снова по сквозняку живота что пробираетесь чертомазые обочиной чертополоха минуя указатели невсяядного человеческого поступка.

Я знаю друг мой и ненавистник въедливых какую зевоту разевает на поверку аршином стоящий в ушах скулеж но я еще не пес подворотный если бы и обступили как злые дети с кирпичами и самодельными кольями. Жизнь конечно потеха необязательная но весельем не обделена в драке для некоторых к чьим горстям вовек принадлежать изволю чтобы ваш слуга братья-поэты и только без прочего постороннего нытья. Каменья братцы собираю побитых хотя впрочем матросское ваше с парусом будет стоять против шторма гибели как заживо молния возвратясь из-под шкафа нежданно страшилищем мирных и всякоцветущих. По таковой беспричине я не стану и наплевать хотел на рассказы о том дутые как будут или не посмеют они со мной но поговорим лучше о невиданном ибо одного желаю избежать прямолинейности без белых пятен и выворота сказанного про такое чему слов нет никаких и даже туго с догадками.

И вот было найдено который найденыш знает какие мерные паруса доносятся по морю вре-

мен к впередсмотрящему если видеть сумел облачковое колибри дребезжащее песню рассмотреть возможную с четырехсот сторон переливчато. Так что живущий оказывается в небо канувших на устах родственником и даже милосердия не нужно сестрой потому что все давным-давно перебинтовано навечными перышками. Без боли сбросив ее как излишний груз с корабля которому плыть и плыть в небесное стеклышко собирая по вольноперой дороге комья влипнувшие и багряные и очищенные от повседневных турусов на колесах пустословия. Пушкин целует хармса напоминая ему пистолетами не забыть в добролюбных странствиях о трудновосходимых обидой ледниках лермонтовых и державинном под шатрами бесноватом в шаманской пляске щите. Не верьте братцы в одиночество которому есть пределы а доверяйте тому кого превыше вселенской злобы разносит любящим ветром в моей полевой и разрываемой груди. Каждому суслику найдется норка а не только твоей тоскливой анненской дудке или рваным метелям зимохода пастерначьего. Что уж говорить о батюшковом долгодумьи с нетерпеливостью сошедших с мыслящего пути выведшем подняв годы и горы замирья к черному без границ и охвата хлебнику великого ненасыщения. Даже птицы стучавшие в окно твоей лютой погибели глупыми мозгами улавливали как без конца или края придется им и прочему люду поедом есть несъедобие твоей гуще железа океановой свалки. Пускай трещит она треском ребра клетка тютчевской ночи после хищи любимейшей чтобы в щелях разрыва найти

фетовы с блеском дубинные глупости не имеющие в косматом бешенстве рыночной или какой иной низменной для его прищуря цены. Он еще расположит их с хитротой паутищика этот карла ремизов знающий интонацию каждой дрогнувшей закорючки до последнего что дано человеку стыдящемуся непосильной доброты. Белый с дебелим отвергающий во имя солнца топор прикровенностей узрит без ядрышка россыпь ячести чтобы предупредить о ней тупорогого в смиренстве тредиаковского который точит простодушно ножи намереваясь расправиться с ликостью солоубской рулады скелетной даже в каковых радостях и чистопородности отстоявшейся склянки. Разрываюсь братцы через решетки вас убиенных из которых сложена моя грудь требующая с вами вместе освобождения тканей чей образ даден в задиристом льве с хохолком умеющем толковать о нас превысоко без распутывания однако чрезмерных узлов своей гладкоствольной каменной выдумки. Вдумайся же боратынской в его мнимое афиноподобие которое ты загодя попирали германским тяжелым в лесовьях мрачно замысливших посохом. Он ведь о ком уже сколько было все равно распахнул своим хлебнем дороги во всяческие никуда где как раз и пьет разнотравье от подножья до самой шапки подевавшегося будущего. И чистее ресницы гуру твоего лебединого сопроводительства превосходящих меру уныния не знать мне колокольцев горбатого стада. Ибо все мы братцы горбаты кроме высунувших языки чтобы говорить не о том понапраслину а дачу бы с участием яблочного многоденствия. Мы гор-

баты друг шаровидный и все вы ему соприродные на острие под солнцевым вспыхивающего острия которому нет ни запретов и никакого прочего объяснения. Юнец тыквоголовый вас угадал спозаранку еще в голосе клитовом петьки за три тысячи лет и горячо остывающем в тоскотище бодлеровых повечерий. Я горбат и все мы горбаты мешковиной артельного без клянчи мира даже если целуется хармс клетчатый с пушкой африканской и шатаются по улицам в обнимку незащитную. Обнимайтесь обнимайтесь братцы чтобы не растерять друг друга кромешно после как из подворотни с голодной вынырнет евонное финкой.

Не стану поверх немоты друзья непричастные говаривать оное для испуга заик или встряски душной перед землетрясением. Не слово наше а гады и свирепые оползни сами доказали что нет для человека большего шакаля чем домовины собственные только и ждущие каждым прищуренным в окошке глазком падения земли и кувyrка в преисподнюю заспанных по-медвежьи деревьев. Не думайте будто не прикасаемы вас обвалы совершающиеся ежеместно когда на колони детки сажены неповинные с ручками катыши серой земли. Вот обрушивается с любым ваше воздушное по кускам небожителство потому что тесно морю кровей и не принять слишком многих и нет им поименного счета. Моя ли вина голубчики в бездыханности запертого на свойский замок ибо сколько отрезано премного земли человеку нужно и еще больше спяну волны и воздуха еще поболее и на лету полегче. Об огне

же какой скачет до облаков сердцелюбно не устану пока не пришли копытные чтобы подкосить одиночество с лобными разговорами которое не отдам псы ни листиком ни единой расплачивающейся веткой. Не ваше росло и не вами отмерено кого накроет и погребет вместе. Не вами брошены в ров кладбищенский стены безлюдия чтобы пыль отряхнув хламид брела она по дорогам сумеречным вольной и голой весталочкой моя заветная мысль. Не ваша не ваша чернота вернет мою голову под топором ногтей в ошейник архимедовых рук или якобы. Ибо руки сплетены беспримерно человеческого слуха и далеко и накрепко убралась кассирша и ждать вам придется немыслимо чтобы заговорил пустой стул и указал место для сидящего прямо. Уходите прочь с дороги вольноперой в кусты принудительного непотребства ибо вижу четыре ножки встают на прямых и плачется в колоннах повилика о невысказанном во цвете лет чьи корни покоятся под развалиной грозно и качают их баю-бай гималайские молчью ветры.

ОАЗИС

*в одном действии, с одной сценой
и с кое-какими зрителями*

Брам и Брум. Один — пунцовый, другой — малахитовый. Просто.

БРАМ: Уходи к собакам!

БРУМ: Иду.

Навстречу — три дога и один волкодав.

БРУМ: Они сами пришли.

СОБАКИ (хором) : Не пришли, а приехали.

БРАМ: Пошел к чертовой перечнице!

БРУМ: Пожалуйста!

Пошел. Навстречу — чертова Перечница. Лет за двести, но за спиной — золотой мешок.

БРУМ: Вот тебе на! Явилась!..

БРАМ: Ты с кем разговариваешь?

БРУМ: Вот перечница пришла. Не заметил?

ПЕРЕЧНИЦА: Дурачье. Не пришла, а приехала.

Усаживается на завалинке рядом с задумчивыми псынами. Размышляют вместе и нераздельно.

БРАМ: Убирайся ты...

БРУМ: Сию минуту и куда хочешь. Не зови никого.

*Плюхается в плетеное кресло, держась по-
дальше от чужой думы. В глазах — полнейшее от-
сутствие.*

БРАМ: А теперь, очутившись вполне один, я
раскрою вам, зрители, тайну...

*Собаки рычат. Перечница же на всякий слу-
чай вынимает челюсть.*

БРАМ: Несмотря на ропот известной публи-
ки я намерен решительно сообщить, что...

*Тем временем подкраившийся волкодав стал
на задние лапы и передней из-за спины похлопы-
вает по плечу.*

БРАМ (отмахивается): Прочь, муха!..

*Волкодав похлопывает. Остальным интерес-
но. Кроме Брума.*

БРАМ (отмахивается): Ну, хватит жужу-
кать!..

*Волкодав похлопывает. Брам разевает пасть.
Из переднего ряда выныривает самый нетерпели-
вый и бросается на псину. Свалка. Доги рычат,
как последние стервы. Перечница, со своей сторо-
ны, кидает в свалку вынутую челюсть.*

БРАМ: Не могу! Подайте мухомор!!!

Размазывает по пунцовому черные слезы. Мухомор подают. Брум встает; все прочие замерли: кто — лежа, кто — сидя, иные же — стоя. Поднята рука. Включается абсолютный свет.

БРУМ: Ввиду такого нашествия, очевидно, как на ладони, что пресловутая тайна не более, чем загадка, для которой не находится слов. Моя роль — показать (*рычание; успокаивает жестом*) ... что конца совершаемому не сыщешь; в какую дверь ни гони, входить будут всякие, но не воцаряясь ни телом, ни смыслом...

БРАМ (*хнычет, из крайних сил*): Пошел к царю Остолопу!

Народ, звериный и человеческий, поворачивает головы. Явственное ожидание. Вносят корзину. С цветами. Пышно. Ждать нестерпимо. Уносят назад.

БРУМ (*наконец-то*): Голубчик! Пришел!

ЦАРЬ ОСТОЛОП (*появляясь осанисто с тронном под мышкой*): Не пришел, друг мой, а приехал на колеснице.

Ставит трон; усевшись, напяливает корону; рядышком сажает пальму: в пыли и в кадке, но древняя, и на ней-то чирикают птички. Оазис.

ПЕРЕЧНИЦА (*встрепенулась, чертовка, — поспеть к трону первой*): Позволь, батюшка, свалить к твоим ножкам золотой мешок.

ОСТОЛОП: Позволяю...

Перечница шмякает со звоном.

ОСТОЛОП: Позволяю, хотя...

ПЕРЕЧНИЦА: Не угодно, батюшка?

ОСТОЛОП: Нет, угодно, угодно... Хотя...

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ЗРИТЕЛЬ (*опять бросается*): Да нет, разрешите, хозяин, ему досказать!

ОСТОЛОП: И тебе разрешаю; вольному воля.

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ: Досказывай, Брам!

ОСТОЛОП (*поднял палец*): Хотя...

Прислушиваются. Канат, натянувшийся сверх меры, лопнул. Топот. Входит, стало быть, караван. Четыре толстопузых бурдюка, спустившись с верблюдов, раскладывают товар и костер. Стемнело.

БРУМ: Пахнет жареным...

БРАМ: Я тебя гнал в три шеи... в четыре... теперь докумекай сам. Тайна не за горами. (*Жест.*) Идите!

ЧЕТЫРЕ ПСИНЫ (*разом приближаются к царю и, преклонив колени, рвякают всласть*): Владыка, вели, если нужно, перегрызть глотки! (*Решительно стряхивают башмаки, сдергивают ушанки и снимают шкуры*). Приказывай, если надо!...

ОСТОЛОП: Прикажу, братцы, нужно... (*указывая на караванных перстом*) Хотя...

Костер потрескивает в свое удовольствие. Пальма чернеет. Верблюды — не меньше. В небе

луна. Презагадочно! Толстопузые не шевелятся. Но луна зато — как фонарь на ветру.

БРАМ (*выступает, чтобы кое-кто видел*): Ну, что, говорил тебе?..

БРУМ (*за ним следом и рядом*): Я тебе отвечал.

БРАМ: Тайна, брат, велика...

БРУМ: И в дверь не пролезет...

БРАМ: В окно, скрючившись...

БРУМ: Заколочено...

БРАМ: Тараканом в щель...

БРУМ: Кот начеку...

БРАМ (*пунцовый и бешеный*): С потолочком обвалится!!!

БРУМ (*малахитовый и равнодушный*): Таковых не придавишь... Чертова перечница еще двести протянет.

ПЕРЕЧНИЦА (*бухаясь в ноги царю*): Батюшка-свет, золотой мешок...

БРУМ (*зеленя*): Собачьему племени грызть бы и грызть...

ПСИНЫ (*на задних и передних лапах*): Глотки, владыка! И сей момент!

БРУМ (*тянет*): Птички — невелички. Их не касается.

ПТИЧКИ (*на пыльной пальме верхом*): Цурюк, Остолоп! Ччихни!

Царь чихает. Среди бурдюков — шевеление. Костер надрыгается, как ошалелый.

БРУМ: ... А пальма молчит. (*Молчит.*) Слы-

шишь? (*Молчит.*) Луна молчит. (*Молчит.*) Видишь? (*Видит.*) Звезды... Где звезды? (*Высыпали; глазают.*) Замолк? Убедился?

БРАМ: Дился... бился... Бедился!.. (*ревом*) Тайну сказать!!!

БРУМ (*вконец празелень*): Закройся ты, бубен. Давным-давно сказано. Так и всячески перемазано. Взгляни-ка на этих (*жест*)... Голодный товар...

Бурдюки, как ужаленные, раскачиваются, заводя унылую песню без слов.

БРАМ: Тайну!.. Горит!..

БРУМ: Закройся, прорва. Открой ноздрю. Слышишь — жареным пахнет?..

Вслушиваются. Глухо. Одна заунывная песня без слов. И костер трещит, как помешанный. Вывозят тачку. Бросают. Уходят. Времена ожидания под бесконечную песню без слов.

ОСТОЛОП (*выйдя, значит, из оцепенения*): Хотя... Где верблюды?

ВЕРБЛЮДЫ: Мы тут!

ОСТОЛОП: Пальма! А, пальма? (*Молчок.*) На месте... Луна, звезды, оазис — все собрались? (*Молчок.*) Значит... Хотя...

Пригорюнился. Всадник пересекает оазис. Кто? Ноль внимания. Совсем напротив. Песня без слов набирает оголтелую силу.

ПТИЧКИ (верхом, чтобы лучше перекричать): Цур-цурюк, Остолоп! Чччихни!

Царь чихает. Трон пламенеет. Перечница, подняв мешок и нужную челюсть, спешит восвояси тишком на завалинку. Псы, похватав с земли свое кровное, — туда же, за нею следом.

ОСТОЛОП: Хоть-хотя... (Обмахивается, за отсутствием чего нужно, короной.) Экий жар-жаровик... (Созрел.) Где здесь самый нетерпеливый?

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ЗРИТЕЛЬ (отряхивается): Готов!

ОСТОЛОП: Кто тут Брам?

БРАМ: Я и тайна.

ОСТОЛОП: Валяй... А кто Брум?

БРУМ: Весь вышел... имеется.

ОСТОЛОП: Не забудь-ка, дружок, свое кресло.

БРУМ (болотный): Извольте.

ОСТОЛОП: Хотя... Нет, под мышкой!

БРУМ (в трясине): Как вам угодно...

ОСТОЛОП: Прошу вас тесней, ребята, тесней...

Трое стали в обнимку. Не разлучить. Впрочем, нетерпеливый пытается оглянуться. Попробуй! Бурдюки между тем, окружив их кольцом, в неслышной обуви, но с песенным воем, укладывают, как бревна, на тачку. Песня заглохла. Тихо в пустыне. Но ненадолго. Под дробь барабана толстопузые, не суется, с привычным, как

мир, сознанием дела, опрокидывают всю тройку в костер. Вспышка. Трещит, шипит и дымит. Каюк. И рассевшись вокруг, заводят, опять же без слов, унылую тихую песню до скончания вечных веков.

ОСТОЛОП *(из приличия повременив)*: Поскольку... хотя... Нет, поскольку остались одни декорации, а действующих лиц больше нет, вы, прочие, вольны созерцать обнаженную заднюю тайну. Она перед вами! Попрошу без вопросов! Не шевелиться! Не чихать и не кашлять! Эй, там, которые... белые... черные... Не вынимать платков и кнутов, записных книжек, крысиных ошейников, клеток, весел, бород и гадальных колод... *(входит в раж)* никаких пистолетов, багров и удавок!!! Ничего! Никого! Оставайтесь на месте! До скончания века! Сидеть! Не вставать! Не жевать, не сорить и не...

Корона брякается об землю. Царская пасть разинута, не закрываясь. Светит все ярче. Солнце. Пустыня. Оазис, пальма, верблюды. Под песенный вой. Разгадай! И совсем ни к чему — на завалинке — псы и перечница: не дыша.

Кто хочет — уходит, кто хочет — нет. Нет, никто не уходит. Лишь зримая тайна. Солнце медленно гаснет, а за солнцем и звезды, оставляя одну, тусклую, но строптивую. Рано уходить! Ибо выбегает, неизвестно откуда, вполне ошалелое существо с неким видом заговорщика и утешителя.

СУЩЕСТВО: Успокойтесь и не-не отчаивайтесь! *(Дальше — как пулемет, хоть и с пафосом.)* Меня зовут Таня Токурсконова, и я вечно, вечно, вечно учусь в шестом классе БЕ!!!

Убегает, выключив на полном ходу последнюю звездочку.

ПАУТИННИЦА

на фоне бездействующих лиц

*Метла метет. Дворник. Щебет листочков.
Входит спичка.*

СПИЧКА. Не видел, где мой коробок?

*Дворник метет. Листочки. Метла щебечет.
Входит лютик.*

ЛЮТИК. Почем нынче на базаре ковыль?

Листочки метут. Щебет дворника. Утро. Входит косточка.

КОСТОЧКА. Чей это двор? В каком я застряла горле?

Пробегают ветерок. Смотрят вслед, вдаль.

ДВОРНИК, МЕТЛА и ЛИСТОЧКИ (удивляясь воздуху). Прозрачный будет день! Все лица позеленели. Мы радуемся непомерно весне...

Водят пыльный хоровод. Пыль, впрочем, не без просветленности. Остальные трое лишних наблюдают крышу. Падает будто сосулька, а точнее — обувной предмет.

ЛЮТИК. В этом башмаке, ребята, сокрыта бездна цветения.

СПИЧКА. Зажечь?

КОСТОЧКА. Что ты, дуреха! Обувайтесь скорее, чтобы не подавиться.

Прячут. Дверь распахнулась. откуда выскакивает Таня. Потягивается. Замарашка.

ТАНЯ (*пресекая ненужные толки*). Сколько мелочей в бессонной жизни! Расправить ноги, брызнуть сосной... Но ах... мой сиреневый башмачок!.. Как попаду теперь на бал в сумерках? Подождем, мой друг, что скажет денек.

Рассаживаются по трое на скамейках. Глушь. Таня уходит помочиться в кусточках. Брызги. На вес изумрудного золота. Не хочу вспоминать о прошлом. Однако... Мера мира разбросана порознь.

То бишь, о чем?

ДВОРНИК (*метле*). Не видала, сестрица, куда подевалась замарашка?

ЛЮТИК (*его не спрашивают; с противоположной скамьи*). Пойди, дядя, на базар и купи самовар.

ЛИСТОЧКИ (*со скамейки первой и главной*). Кто там? Чей мыловар?

КОСТОЧКА (*тоже без спросу*). Чистым золотом льется... и с вишневым вареньем.

МЕТЛА (*на первых ролях*). Молчать, приви-

дения! (Дворнику.) Я, братец, сама полюбила ее лучше родимой дочки. Поискать, что ли?

СПИЧКА (и эта не спросясь; как с того берега). Да еще костерявых разжечь!.. После баньки, дедушка, на пузо не лезь!

ДВОРНИК (ясное дело, откуда). Чтоб он отсох у вас, язычок, стервы невидимые! Кнута на вас нет!

ЛИСТОЧКИ (довольно болтать). Мы, дядюшка, мигом слетаем. Только прикажи.

МЕТЛА. Да ну ее к лешему! Подышать, что ли, воздухом?

Пробегают холодок. Смотрят искоса.

СТАРУХА (кто такая, понятия не имеем, но возникает как по приказу начальства). А ну-ка, снять шапки! Куда запрятали девку?

Проезжий автобус. Похож на самокат. Дымит. Все присутствующие теряются из виду. Старуху, однако, не запугаешь. Высовывает отдельную голову.

ДОМ. Я тебе, старая, принадлежу по праву. Вместе с перинами, люстрами, чердаками, картинками...

СТАРУХА (сильна головой). Ты мне сиропу не лей! Куда, говорю, девку засунул?

Прояснилось. Щебет дворника. Листочки. Метла не метет. Ветерок пробегает, но не до него.

КОСТОЧКА. Для такой раскрасавицы... Хочешь, бабка, покачусь хоть на край света?

МЕТЛА. Нет, как тут радоваться весенним событиям, если не скovyрнуть эту нечисть?

СТАРУХА. Ты на кого намекаешь?

ЛИСТОЧКИ. Погляди-ка, хозяйка, кто там пиликает на противоположной скамье.

ЛЮТИК. Тю-тю...

СТАРУХА. Никого нет (*спичка прыскает*)... голый простор возле моего дома.

ДОМ. Извиняюсь, старая, но я принадлежу тебе по праву. Вместе с овчиной, сутульями, зеркакалами, над... под... над... свечниками...

СТАРУХА (*благим матом*). Что вы мне голову морочите! Девку, девку подавайте!

Дворник хватает метлу, усадив свободной рукой листочки на лысину: настоящий венец! Метет. Пощечечешь тут!

Спичка, лютик и косточка шепчутся. Дуют. Вдруг появляется Чехов. Сразу же чернее тучи, хотя и в пенсне. Старуха пятится.

ЧЕХОВ. Ты, собственница, не прячься. На куски разрублю! Зачем погубила вишневый сад?

Старуха пятится. Опять самокат-автобус, и снова затемнение. Если столько будет в небе облаков, то когда же наконец повеселеет? Но и это, и всякое — смотря как относиться... Можно прилечь на скамейку: ну, озябнешь немного, ну, дрожать начнешь от сырости или вдруг плеврит схватишь, но зато какие виды на небесах! Кораблики

бегают, трубочкой помахивают, потянут за волосочек, и с маху обвалится припудренная голова размером с китайский монблан: то-то дерево расцвело! Не дерево, а суцая роженица! Не бойся плеврита, нет, подожди, что из нее выйдет. Шлем? Да еще и с латами? Значит, Александра Великого не миновать, а отсверкает, пернатый, под Арабеллами — потом будут сумрачно мир делить. Небо ведь тоже — штучка непростая. Смотри как взглянуть... Ну, а под небом что? Чехов! И этот самый Чехов наступает с криком на старуху, которая пятится крутым задом, покуда не проглотил ее дом. И Чехов за ней. Туда им и дорога. Скатертью!

Возвращается Таня. Кустики в слезах. Но сияют. Дворник скидывает венок и ставит метлу. Листочки отряхиваются, а метле — незачем.

ДВОРНИК, МЕТЛА и ЛИСТОЧКИ (удивляясь воздуху и Тане). Справилась! Родимая!.. Брызнула весной!

ТАНЯ (плюнув с досады; к оставшимся на скамейке). Где, ребята, мой сиреневый башмачок? Не заметили!

ЛЮТИК. Спроси у дяди...

КОСТОЧКА. Метла зарыла...

СПИЧКА. Листочки съели...

Дворник насупился. Пробегает немыслимый холодок.

ТАНЯ (не то канючит, не то беззаботно и по обязанности). Право, ребятки... Ведь сказано: ве-

чер... балдахин и весна!.. пора!.. Ведь каждый теперь — балда, и бал начинается в сумерках. Да!

Лютик, спичка и косточка твердят свое, как любимую песенку, все тише и глуше, пока не исчезают совсем в растворениях воздуха. Напрашиваются звезды. Дворник, почесав переносицу, надевает листочки на одинокую ветку и подхваченной метлой смахивает со скамейки почти лиловый башмак. Мир дробен, однако находчив в частностях. Это вполне понимает замарашка Таня, которая скачет на одной ноге, натягивая на вторую обувной предмет, чтобы поспеть в подкативший автобус или якобы. Дверца хлопает. Тани нет и не будет. Зато опять есть вышедший вместо принца из автобуса Чехов.

ЧЕХОВ (как и следовало полагать, обращается к публике). Я знаю, старуха, что испорчу тебе настроение. Весна, весна... Но зачем погубила вишневый сад? Не прячься, раскоряка! Найду! Отвечай: зачем вырубил? Эх, зарублю!!! (Дышит мстью.) Я мрачнее тучи, хотя и в пенсне. (Утомленно.) Спрашиваю вас, господа... Этот дом, в котором я провел детство... Эти унылые скамейки... Эти облезлые, как макака, стены...

ДОМ (терпение лопнуло; лезет в Шляпины). Драгоцен... гогоценная ты моя (старуха выныривает как из-под земли или, разве что, по приказу начальства), я по пра-пра-пра-праааву тебе... (Откашлялся; лезет в Яхонтовы.) Вместе с невестками, занавесками, чулками, чуланами... вместе с ваннами, с пьяными, с тазами, с иванами...

Осип. Трухой повеяло. Старуха онемела, а впрочем, духу в ней — на гвардейский полк. Пятится крутым задом, но указывает худущим перстом. Дворник, почесав затылок, выметает Чехова вместе с прочей нечистью в оркестр. Пробегает ветерок, сопровождаемый холодком. Музыканты, трубя весне, поднимаются ликующими деревцами на сцену, приветствуемые дворником. Дом душит старуху в могучих объятиях. Мы с вами — в тех же. Каменная десница. Бархатец занавеса. Еще и еще. В его вишенных промежутках никем не понятый и заслоняемый порослью дворник мычит на весь зал, как немой, тыча метлой в не-сусветную сторону. Это спичка, лютик и косточка предадут земле тело скорбного Чехова. Салютуют. Занавес и привет. Или нет?.. Раздвинув вишневое, Чехов спускается по ступенькам и деловито, хотя и маньяк, спешит в раздевалку.

ОБЛАКА

ГОЛОС. Эй! Семеныч! Хорооошенький!

Без ответа. Раскрывается сцена... вместо небесного пустыря. Гудит. (И подташнивает.)

ГОЛОС. Слышь! Семеееныч! На деревянной ноге! С колотушечкой!

Облака вьются кудрями. Из кудряшек проблескивает. Строгость линий и, значит, порядок. А по залу разносят прохладительные напитки.

ГОЛОС (томится; некуда деться). Семеныч, худое пузо! Летааатель!

Напитки, естественно, прохладив, освежают. Вьется пореже, но зато и кудрявей. В ушах пустота. Гудит! Уходят, раздав (эх, красотки!), в собачью будку пилота.

СИЗАЯ ТУЧА (твердой ногой). Любить? Не умею. Или пожалеть? Не могу! Изолью-ка я свою злобу.

Гром и молния. Тухнет, чахнет и снова шатается. Мнительно. Треволнение в зале посреди пассажиров.

ГОЛОС (сверху, из белой тучи). Стой, чертова кукла! Не подоспело... Семеныч, тебе говорю!!!

Зажигается собачья будка. Этаким петух в форменном наряде смотрит гоголем. В руках — штурвал, на коленях — мадам. Остальные покуда кобелятся. Прелестная, однако, стайка!

ПЕТУХ. Ну-ка, девушки, не сомневайтесь. Через три с хвостиком будем на месте. Которая сегодня со мной?

Облака любопытствуют. Дамы краснеют. С шатанием. Вокруг... как-то вдруг помрачнело. Каденция.

ПЕТУХ. Я слышал крик насекомого.

Проносится.

ПЕТУХ. Я видел бегущих, и я не видел страждущих.

Лопаются.

ПЕТУХ. Я чувствовал в печени злобу дня и потуги воздушного змея.

В облаках нетерпение... барабанят дробно.

ПЕТУХ. И не стал ни зеленым, ни синим, ни тем, ни этим... сущие бестии!.. но начальствую-

шая персона отказывалась поднять паруса.

Дробь рассыпалась. Частные причитания.

ГОЛОС (*из тучи; тончает*). Замри, канитель!

ПЕТУХ. Я слышал крик насекомого... Я видел и чувствовал... (*В облаках шевелится... извилина? И осенило!*) Свежие дыни? (*Взвизывается.*) Чтоб им повеситься! Как будто выкусишь досыта, если схватишь зубами сочащийся нож!

Стайка обмерла. Облака закрывают глаза.

ПЕТУХ (*приутих*). Мой пустырьник — от недовольства, но путь-дорожка моя — без заминки. Спокойствие!

Лопается.

ПЕТУХ. Будем. Не сомневайтесь. Которая нынче?..

Шатание в стайке. Облачный взвизг.

ПЕТУХ. ... Достигаем (*извивый*)... с хвостиком!.. На сто верст широты!!

ГОЛОС (*без ног*). Эх, Семеныч, опять накачался...

ПЕТУХ (*свое*). Слышал крик насекомого...

Проносится.

ПЕТУХ (*трын-трава*). Никакого значения. Мы летим, дамочки, в город Вавилон.

Вавилон выносят на сцену. Вроде подарочно-го торта. Подташнивает.

СИЗАЯ ТУЧА (*лизнула бронзовым язычком.*) Тьфу!.. Один жир!.. Как бы не было несварения... (*Убегает в невидимое.*)

ГОЛОС (*из белой; вовсе былиночка*). Пронеси, Господь...

ПЕТУХ. ... И сто восемьдесят градусов жизненной долготы. Понятно, красавицы?

Девушки кивают. Которая на коленях — жеманится. Вавилон между тем помаленьку расцветает в задумчивой темноте. Фон, в некотором роде. Небесный барон. Облака глазят издалика. Подташнивает.

ПЕТУХ. А понять трудно. (*Кивают.*) Понять невозможно. (*Кивают вдвойне*). Взгляните, к примеру, на...

В облаках мелькает. Что именно? Разное!..

ПЕТУХ (*упорствует*). ... Или, скажем, вспомните, когда в праздничный день... ну там, из гостей, уже наелись-напились, по диванчикам, звезды в небе, окурки на полу, а такая промеж нами веревочка...

Вавилон вздрагивает. Облака нависают.

ПЕТУХ (*все тот же клубок*). ... У меня родинка справа, а у тебя, положим, слева. Место опустим...

Дамы краснеют; облака любопытствуют; Вавилону — плевать!

ПЕТУХ. И вот, милые вы мои, все-то думаю: отчего это грудь распирает? Как углями жжет!

Подташнивает. Из Вавилона выходит человек в бескозырке. Во тьме неразборчиво, но когда говорит, по залу пробегают шторм. Пока, впрочем, помалкивает и, даст Бог, вообще не раскроет рта. Одним словом, статуя.

ПЕТУХ. Подождите кобениться. У меня от рождения. (Облака вздыхают.) Чуть что — дождик льет... (Облака придвигаются.) Чуть что... (поднатужившись) она самая...

Облака отшатываются. Вавилон дрыгается.

ПЕТУХ. ... А я ей и говорю: "Ну что ты меня щекочешь? Я же не деревянный". А вам, девочки, скажу прямо: железный!!!

Видимый трепет. Проверка ошупью. Лопаются и проносятся. Из Вавилона же появляется нечто такое... подумать страшно. Нет, лучше не думать. Самое человеческое — сапоги. Но и эти не дышат: пока — фон и статуя. Когда? Потерпите... Вернемся-ка в собачью будку. (А зачем возвращаться? Нельзя ли?... Глядишь, еще минутка передышки... Соснуть бы можно на пользу билету или же вдоль соседки... того... а то и по делу, по нужной надобности... выбраться ящеркой,

полбочком... как стыдливое бегство в пустыню... Нет же, не умолкает! Как прорва! Как на цепи, живодер, ведет! И уже дребезжит, и уже погромыхивает, уже соседка вцепилась по скверной ошибке в твой злосчастный коленный сустав, предчувствуя, как всякая нервная женщина, то, что нам, тюленям, и не мерещилось...)

ПЕТУХ. Потому что... железо, а гнется... Стареем... усов не бреем (*ха-ха!*)... Нет, какие там, мои хорошие, шутки: тучи снятся каждую ночь. (*Бабах!*) Покойница-мама предупреждала: "Живешь, сынок, в такое время, что не знаешь, откуда кирпич упадет".

Падает из Вавилона. Приподнимается на четвереньках. Девицы, побледнев, закрывают уши. Потом, опомнившись и порозовев, начинают (надо?) разоблачаться. Сидящая на коленях (нужно!) окрашивается в малиновое. Зато упавшее, как на четвереньках маяк, светит глазами-блюдами в зал. Холодает.

ПЕТУХ. То-то... Север, все ближе север. Никакой, сестрички, надежды на юг. Но далеко еще до точки замерзания...

Дует. Вавилон приходит в растительное движение. Кое-какие побеги. Озябшие красавицы тоже шевелятся вполне растительно и в листовных позах. Облака покашливают или, может, отхаркиваются, или же, чего доброго, прочищают глотку. Проносится.

ПЕТУХ. Мамонты, как говорится, и прочая.
(Оживляется.) Правильный зверь!

Облака вовсю потрескивают, как масло на сковородке. Часы? Ну, повесьте... Пулеметный, во всяком случае, отсчет времени.

ПЕТУХ (*еще оживленной... заветное!*). С кошатниками просьба не путать. Бегемотов терпеть не могу. Букашечки... только в супе. Рогатых (*зверееет*) ненавижу тихо, плавниковых — с топотом, членистоногих — с дреколями, перепончатопалых...

Повальное бегство. Лопается.

ГОЛОС (*полумертвый... из какой тучи?*). Семеееныч, остановись!

ПЕТУХ ... брр! Топить!! (*Присмирив.*) Питаюсь травой.

Подводят взрывчатку. Недурна... но с секретом.

ПЕТУХ (*обратно в меланхолию*). Мне-то что, мое дело — резиновое. Высоко не свищу (*тут-то собачью будку и встряхивает; стоны и тошнота*)... ну, а если последняя, мамочки, бирка (*из Вавилона — гуськом номерки*) претендует на роль казненной императрицы...

Из Вавилона — в барханы... с конвоем... последний, стервец, отстаёт.

ПЕТУХ. Рыбки бегают в пруду... не накли-
чут ли беду?

*В облаках знаменует. Дудят. Флаги?... К бою!
(Потерпите, ребята. Недолго ждать.)*

ГОЛОС (крепчает). Останови колесо!

ПЕТУХ. Хотя держимся. Чего боимся... не
скрою: как бы насморк не подхватить!!! (*Чихаю-
щий аппарат в виде получеловека с естественным
шумом выныривает из отцветшего Вавилона.
Стоп, машина!*) Излишки трения. Ущерб прост-
ранства. Выживание размельчайших частиц. Экто-
плазма. Некто без имени (*ну, зачастил!..*) и чис-
ла. Энтропическое, хоть убейся, сужение (*нервно,
с душой!..*) колоратурных сосудов (*лирическая
струна!..*) после вторжения инопланетного мусора
в нижние словари атмосферы, каковые... (*Спот-
кнулся; ищет опору.*) Кавьи... сам читал и про-
шу, раскрасавицы (*снова разоблачаться?... куда
еще?..*) ... попрошу убедительно! (*лопается; по-
лушепотом*) верить на слово...

*Облака разворачивают свои газетные поло-
сы. Как проверишь? В глазах темно. Скрежет. На-
стоящий лесопильный завод! Машут, собаки... ту-
да, сюда... теперь уже не остановишь. Штормит.*

ПЕТУХ (*наращивая соответственную мощ-
ность до исступления.*) Все ученые!.. Не прове-
дешь! (*Вавилон начинает расползаться или, если
удобно, разваливаться на мелкие кусочки; пова-
нивает*)... Каковые голубушки извлекаются из

заднего отверстия после введения трубопровода в кишечную...

ГОЛОС (*хрипатый и блатной*). Заткнешь ты ее, кобель?

Собачья будка раскачивается на шторму. Неужто заговорил в бескозырке? Нет, только рот открыл... Ох, и скрежещут! Волны прокатываются, как жесь, в облаках.

ПЕТУХ (*вот так пасть! вулканоид!*) Кстати!.. (*Молнии проносятся; девушки шатаются; Вавилон трясется... выгружая скопом еще на понюшку необходимых фигур.*) Прочитал, что у них (*не находит нужную ноту*)... что с той стороны (*чуть повыше*)... ни-ни!.. чтоб они? (*наконец-то!.. прямо над гудом; как диктор готтентотского радио*)... они прячут в хоботе повивальную бабку. Когда женщина рождает (*треск разрываемой ткани*), хобот отпиливают (*тарарах!.. на крыше остаточного Вавилона вспыхивает автоматное рыло, направляемое умелой в перчатке рукой*), потому что бабка строит в нем проволочные заграждения (*то ли ножницы, то ли кусачки; схватка; роняемые моторы*) и вынуть ее можно только с противоположной стороны. Тут она, девушки (*где вы, девушки?.. голые уточки!.. начинают пищать*), сразу добреет и принимается за работу. Но дети... скажите (*кричит, кричит дитя некормленное!*) ... какие рождаются дети? Я встретил как-то на берегу... (*стрельба! оживают, что ли, фигуры-то?*) агу, деточки! (*дожили*) бегу, милочки, не могу задержаться!.. (*как режут в курятнике*) пять — ноль!! к посадке!!!

ГОЛОС (твердой окрепшей ногой). Семечныч, паскудник, легче на поворотах!..

Сирена (выходит из берегов). Белоснежные уточки (кроме одной... лежит, лежит малиновая) разбегаются, как из пушки, по залу (прелестная, однако, стайка!), где и...

РАЗНОСИТСЯ. Ремни! Пристегните!.. Свои ремешочки!

Одни пристегивают, другие машут, какие-то пляшут... тогда как над схваткой, всемогущим усилием репродуктора...

ПЕТУХ (прорывается из затмения). Не тот, братцы, покинут богами, у кого шевелятся волосы на затылке, но тот, кто смеется над плачущим и роняет слезу над гогочущим. Всё!

Не затмение, а крошечные дебри, потому что:

1) Вавилон зачах и потух без остатка под автоматное сопровождение;

2) Сизая туча налетает коршуном на собачью будку, довершая единым порывом то, чего не успели ни взрывчатка, ни огнестрельное оружие, ни даже слишком медлительный и бессловесный шторм;

3) Сирена возвращается в берега, лишая нас окончательно всякого пространственного ориентира.

Блуждаем... Выходим на светлячка... Озаряется.

ПЕТУХ (*ли?... хорошенький, на деревянной ноге, с колотушечкой, но... пышет крылышком перед падением занавеса*). Всё ли, братцы? (*Без тени...*) Не петушиться. Я — птичка ФЕ-ФЕ!

Дым и... занавес. Нет, не конец.

ОЖИВШАЯ МАЛИНОВАЯ ГОЛОВКА (*высывается; контральто*). Пассажиров решительно просят не двигаться до полного выяснения обстоятельств.

Сизая туча (совсем почернела) и Белая туча (побелела вконец) располагаются слева и справа. Бдят. Городской на гармошке мотив. Платочки. Занавес кое-как раздвигается.

Девушки... то есть, больше не девушки: барачные, по ранжиру, моторы для заготовки груш. Эти поэты.

Разбирательство в темпе аллегро, хотя, впрочем, будет явно нелишне по мере или без нее представить участвуемое.

СМЕХОТУНЧИК (*на деревянной ноге, с колотушечкой*). Груши, братцы, обколачиваем... чем?

Хиханьки. Сцена. Кроме одного: погробен, как скала (в бескозырке).

СМЕХОТУНЧИК. Чем же, чем, браточки вы мои, обколачиваем груши?

Хаханьки. Сценическое построение. Один вы-

падает. Сказано: как скала (в бескозырке).

СМЕХОТУНЧИК. Ну, давай ты, Сыдалин.

Усатый, во фраке генералиссимуса, стягивает сапоги. Носки связаны плотно, общими усилиями. Блестят сапожки! Доказывает публично.

СМЕХОТУНЧИК. Нет, браток. (Сыдалин куксится.) Нет. Скажи ты, с насморком.

Аппарат соплевидный. Гундосит. Разобрать бы... а не получается (полчеловека).

СМЕХОТУНЧИК (хлопает в ладоши). Ну, брательник, загнул! (Сыдалин улыбчив). Да не в ту дырку. Ваше слово, Анна Вяхиревна Зевастая.

Сапоги заслоняют. Хотя сама-то... гора с предгорьями! Для чьей весенней любви? Отодвигает. Сыдалин куксится. Ожидание в Альпах.

СМЕХОТУНЧИК. Ну, ну! Выпаливай!

Сыдалин улыбчив. Марево. Анна Вяхиревна Зевастая упирает лесной ноготок в нержавеющую (касса) грудь.

СМЕХОТУНЧИК. Ан нет! Пронесло... Не попала, любушка. Подумай ты, тлудно.

Пыжится (на четвереньках). Сморчок сморчком, а лицо пылает, как пожар небоскреба. Еще тужится. Сейчас крыша грохнет. Нет. Пока не сгорел, указывает, стыдливый, на задний прибор.

СМЕХОТУНЧИК (*мучительно*). Ай-яй-яй! Коленкор, сущий коленкор! Мимо, братишечка, мимо. Тебе, мореный, гадать.

С добрым утром! Без тапочек на голове. Не гнется (дуб), хотя листики помавают к окошку.

СМЕХОТУНЧИК. Куда ты? Какое дышло?

Ворочает верхними пальцами.

СМЕХОТУНЧИК (*колики*). Стыдись, езоп. Причем тут святители? Фу!.. Ну-ка, ты, лоскутко.

Развевается. Кусочек народного знамени. Темя — темени, вымя — вымени. Этот — всем.

Показывает нутром на заготовочные моторы.

СМЕХОТУНЧИК (*посерьезнел; больше не-возмогу*). Уморил, брат. До слез и до смерти. Стоп. Валяй, Блох, твоя поэтическая очередь.

Блох, затянутый до пупка, выдерживает струнку. Ниже — болтающееся. Части и причастия. Мычат.

СМЕХОТУНЧИК. Экую грусть навел! Что ты все на гитаре? Я ведь по делу, братцы: чем именно? Осталась ты, бабуся. Отхаркнись. Выкладывай, раздевалка.

Номерок 421. Заплеван. Трется об чей-то рукав. Получается (в сумме): бенгт! Смехотунчик отодвигает собственную голову и оглядывает всесторонне... ?? Нет! Звук скачет на одной ножке (рюмочка). Сыдалин куксится. Замеша-

тельство. Погробен, как скала, открывает рот. Штормит. Рюмка №2 пытается взгромоздиться на праздничный стол. Рюмка №3 ее удерживает за ножку. Звон стекла. Помешательство. Моторы для заготовки груш, ловя момент, начинают направлять спины. Рюмка №4 булькает некстати и выдает тем самым себя начальству. Статуи гоняются за рюмками, рабочие сцены гоняются за статуями. Погробен, как скала, прочищает глотку... Смехотунчик швыряет с гиком ненужную голову в оркестр, где поднадоевший мотив гармошки сменяется давно не слыханным маршем авиаторов. Под эту музыку и пока не поздно (шатается!), Черная туча и Белая туча категорически задергивают занавес. Стихает. Лишь две (посреди) волчьи хватки и отдаленные валторны марша...

Воспользовавшись отсутствием туч, откуда-то сбоку выволакивают собачью будку, тогда как из прорези, на минутку...

МАЛИНОВАЯ ГОЛОВКА (между белым и черным; контральто). Объявляется срочно воздушный полет на остров Лигейи и Паранойи. Всем пассажирам незамедлительно очистить зал ожидания!

Занавес (вместе с тучами) дергается к небесам. Всклипы марша. Каденция. Статуи и девушки (кроме одного) машут платочком. Темнеет в глазах. Зажигается собачья будка. Этаким петух в форменном наряде... и т.д.

ЗАНАВЕСОЧКА

**ПОВЕСТЬ О БЕЗЫМЯННОМ КАРЛИКЕ
И КАМЕШКЕ СЕРДЦА**

И подошел карлик, не имеющий имени. Есть большая голова и малый рост тулова с тростниковыми ножками, но нет прозвища, потому что занесен ветром с той стороны реки, в которой берег молчания охраняется крокодилами. Рыба Ча, враждующая с богиней Тихёт, покуда несло его, успела отхватить лепестковый член зубами, но он уронил туда две капли крови и приставил на то место горчичное семя. Было все равно, из какого вещества, ибо главное не в размерах и не в соответствии чему-либо на вкус, а чтобы всякая часть оставалась на месте. Тогда, по сказанному премудрым Тиллом, целое меньше чести, однако выигрывает в значении. Он это сделал, а таковое значение безымянно.

По вражде рыбы уронив две капли, карлик подошел к дереву Туч и поклонился ему, будь оно трижды благословенно, в ноги. И вот у этого дерева был молодой племянник, носивший имя Серпач. Он правил на этом берегу страной Кориндой, запасаясь ежегодно, в день цветения луговой Ножки, камешком бычьего сердца. Одного камешка было достаточно, чтобы обернуть время заново и продержаться год подряд. Но его собирались похитить.

Подойдя к дереву Туч и поклонившись ему, будь оно трижды благословенно, в ноги, карлик развязал мешок своей головы и вынул жертву.

Она была величиной с куриный глаз, но в ней скрывалась душа Ахота. Карлик так поступил. Этот Ахот не доводился родственником никому, потому что он вышел из уха богини Тихет. И дерево Туч приняло жертву.

Путь души Ахота начинался здесь на пятый день. В тот самый, когда племянник Серпач отправился за нужным камешком. А камешек сердца не имел числа. Он был хозяин огня, который служил без хитрости. Душа Ахота понимала, что ждет молодого правителя, но говорить не умела и томилась, прозревая в дупле негодное будущее.

Карлик же, принеся жертву, заменил отслуживший мешок тыквой с гладкого поля. Вещество было не так важно, лишь бы только часть, потому что целое без имени еще выигрывало в значении. Карлик так поступил, чтобы пойти, куда следовало. А об остальном говорить излишне, если бы и случилось негаданное. И карлик встретил под горой лисицу Алик.

Отправляясь за камешком бычьего сердца, Серпач знал, по слову премудрого, что его собираются похитить, но он знал это столько и столько, что давно свыкся с мыслью и думал лишь о богине Тихет, которая всегда оставалась невидимой на берегу молчания. Он вышел ранней зарей, надев легкие сандалии, а богиня была охраняема крокодилами, и неизвестно, когда вставал для нее день и когда ложилась ночь. Поэтому так бесчисленны были песчинки на его временном пути, что мысль о богине складывалась сама собой. Он о ней думал.

Лисица Алик уже поняла, что душа Ахота томится где-то неподалеку. Она догадалась по чуткому запаху. Но душа Ахота не дремала тоже. Покинув, как сказывают, дупло, она простилась с деревом Туч и, отдав ему, будь оно трижды благословенно, дань своего молчания, стала догонять карлика. Ее путь пересекся с дорогой лисицы Алик. Карлик смотрел.

В стране Коринда праздновали день высочайшего отсутствия. Банщики и стиральщики нечистого вошли во влагу озера по пояс. Остальные совершали омовение в стенах без свидетелей. Никто не прикасался к женскому. И главная над рабынями в этот день отдавалась начальнику кастратов, как он умел. Это бралось на глазах собравшегося двора, а потом приходила темнота и наступало темное. Но богиню Тихет не видел никто. О ней в этот день слышали.

Рыба Ча проглотила лепестковый член карлика. Оттуда выросло дерево воды. И став над рекой, оно воспыало завистью к дереву Туч. Потому что помышляло об утяжелении вещества и не желало слушать о сказанном премудрым Тиллом. Оно искало поименования. Такой обряд был возможен в этой стране. К ней оно вытянулось за словом именователя. И это слово произносилось, если скрестятся дороги идущих.

Дальше. Увидев, что случилось с лисицей, карлик не удивился и не возгневался, а вошел в ближний дом, который пустовал, ибо хозяева ушли в поле работать, и понял, что душа Ахота последует туда за ним в своем новом наряде. В доме было темно и прохладно. Лисица же Алик

катилась бестелесно, как выпотрошенный воздух, к луговой Ножке.

Племянник в легких сандалиях на лугу приблизился к желаемому, когда пятый лик солнца пошел на убыток. Он вытер пот со лба, потому что жар огня не спадал, и позабыл на мгновение ресницы о богине Тихет. Путь здесь обрывался. Племянник вспомнил, что привело его сюда по давней привычке. Времени для оборота оставалось на один шаг. Но он еще ничего не знал о зависти дерева воды. Рыба Ча плавала по-прежнему среди крокодилов, и две капли крови видели ее вражду к богине Тихет. Кто-то, думал Серпач, хочет похитить камешек бычьего сердца.

Лисица Алик в своем новом наряде тоже бежала, как выпотрошенный воздух, туда. Но лишившись всякой телесной части и даже воли глаза, она совершила полный круг и вернулась в подсолнечной тесноте к дереву Туч. Дерево, будь оно трижды благословенно, не проронило мыслимого словом именователя. Оно уже знало и о зависти дерева воды, и о том, что случилось в Городе празднования. Дерево Туч было готово.

А случилось следующее. Главный над оруженосцами, будучи братом правителю Коринды, но не обладая сродством племянника, вошел в залу омовения, когда увидел на краю бассейна женщину, о которой слышал. О ней ходили в Городе слухи и недомолвки, потому что никто не знал, кто пользуется ее телом, и даже поговаривали, что ее послала сюда, для непрямой цели, богиня Тихет. Так говорили. Эта женщина сидела на краю бассейна и, завидев Колоду, главного над оруженосцами, приложила палец к губам.

Рыба Ча не ожидала появления дерева воды. Она вождедела только к камешку бычьего сердца. Огонь же, которому он был хозяином, служил без хитрости. Но когда дерево воды воспыало завистью, рыба Ча подумала, что будет удобно завладеть желаемым через эту зависть, выросшую из проглоченного лепесткового члена. Она сказала дереву: "Давай поклянемся раздобыть вместе каждому свое". Две капли крови это видели. И водяное дерево кивнуло вытянутой головой.

Карлик тем временем, на пятый день после своего прихода к дереву Туч, будь оно трижды благословенно, стоял уже в одной пешей чанге от Города. Лисица Алик в своем новом наряде, лишенном воли глаза, совершила еще один круг. Дерево Туч не выдало себя даже птичьим запахом. И путь лисицы Алик в этом втором большом круге пересекся с дорогой карлика. Отдав ей свои тростниковые ноги, он покрыл ее убожество шерстью пригородного суслика. Так он сделал. И он сказал ей: "Войдем в этот дом, где темно и прохладно". Он шел воздушными ногами, потому что целое очень и очень этим выигрывало в значении.

Когда же правитель Коринды наклонился, чтобы взять камешек бычьего сердца, он услышал позади себя топот зверя. И он недоумевал. Но недоумение его длилось не более мгновения ресницы. Он понял, что получит известие, которое скакало с гонцом из Города. Там в этот день главная над рабынями отдавалась начальнику кастратов, как он умел. Но непонятное опустилось на его чувствующую кожу, и они пережидали.

ли это в долгом оцепенении. Так вышло. И молодой племянник снова вспомнил о богине Тихет.

Однако душа Ахота, расставшаяся с карликом, тоже не дремала. Выпустив заемные соки для восполнения его сущей воли, она должна была отыскать дорогу к дереву Туч, будь оно трижды благословенно, чтобы сообщить ему о неминуемом. И она сбросит новый наряд. Тогда вещество, заложенное в дереве воды, оскудеет или разобьется напрасно в силу неутоленной зависти. И рыба Ча забудет на мгновение ресницы о своей вражде с богиней Тихет. Пусть только отыщется дорога. Так думала душа Ахота, надеясь поспеть ко времени цветения луговой Ножки.

Женщина на краю бассейна сняла одежды с Колоды и, отняв у него достоинство памяти, начала притирания молча. И вот главный над оруженосцами замыслил недоброе против брата. Ибо он вкусил волоса от ее тела. Об этом волосе в Городе слыхивали, но никто не знал, что его выпустила из своей слюны рыба Ча, враждующая с богиней Тихет. Две капли крови, ценящие злое и доброе, не были тому свидетелями. Крокодилы были как стена в реке, не касаясь бесстыдного и не видя гадкого. Только премудрый Тилл это знал, но он уже скакал на звере далеко с известием Серпачу. В его голове помещалось многое.

Дерево воды готовилось к обряду поименования. Ему не нужно было омовения, как банщикам и стиральщикам нечистого, и оно не нуждалось в тайне четырех стен, как все прочие. Дороги идущих должны были скреститься. Начальник кастратов не мог взять, как он умел, главную над

рабынями, и люди двора, прождав, в недоумении расходились по домам, потому что уже наступало темное. Каким оно будет? Почти легла ночь, и о богине Тихет думали двое: Серпач, ждущий известия из Города, и рыба Ча, плавающая среди крокодилов.

Карлик, выйдя из сумеречного и прохладного дома, заторопился к городским стенам. Брат правителя его не ждал. Но женщина на краю бассейна о нем слыхала. Карлик сбросил голову-тыкву и освободился от малого роста тулова. Это он совершил. Теперь легко было войти во дворец и приступить к делу. Душа Ахота, не питающая обиды, тоже не останется без отмщения. Так говорила сущая воля карлика. И его целое радовалось без имени.

Дерево Туч, будь оно трижды благословенно, не могло забыть о своем кровном племяннике. И об этом не догадывался никто: ни душа Ахота, ни женщина на краю бассейна, ни дерево воды посреди крокодилов, ни даже сам молодой правитель Серпач. Чтобы похитить камешек бычьего сердца, надо было прибегнуть к хитрости. Потому что ее не ведал огонь, который служил хозяину, не имеющему числа. Так и сделал Колода, главный над оруженосцами, по наущению волоса от тела женщины, который выпустила из слюны рыба Ча. Этот волос подсказал ему звезду, которая должна была в нужное время упасть и накрыть луговую Ножку в день ее цветения. Так он поступил.

Когда премудрый Тилл, став на землю, готовился известить о случившемся правителя Ко-

ринды, луг был уже усыпан обильными цветами, а карлик вошел во дворец. Цветущая среди них луговая Ножка томилась на расстоянии руки. Но не имея больше достаточной воли глаза, чтобы найти сокрытое звездой, Серпач, как надеялся волос женщины, упал тут же замертво. Ибо времени для оборота не осталось и на мгновение ресницы, и лисица Алик это почуяла. Она почуяла это новым нюхом своего убожества под сусликовой шерстью. Тогда она подбежала к мертвому, которого растерзала на части, и путь ее тут пересекся с дорогой премудрого Тилла. Он был свидетелем.

Карлик держал в руке волос. Рыба Ча злорадовалась напрасно. Дороги идущих скрестились, и дерево воды приняло обряд поименования, но зато дерево Туч разразилось без слова грозой. Ее слышала богиня Тихет, которая подула с берега молчания на страну Коринду. Она подула над спинами крокодилов, и две капли крови в реке зажглись. Они видели, как в мгновение ресницы состарилась женщина на краю бассейна, а брат правителя Колода лежал без движения на глубине влаги. И вышел из оцепенения начальник кастратов, и взял, как он умел, главную над рабынями. Спящие, не поднимая головы, с закрытыми глазами выглядывали в окно. Не оставалось ни дня, ни ночи. Все части у карлика были сохранены, но целое как бы пошатнулось и разуверилось, под чужим именем, в своем значении. Потом каждое стало на свое место, и душа Ахота, не питающая обиды, поклонилась дереву Туч, будь оно трижды благословенно, в ноги.

Тут он и вышел, премудрый Тилл, бывший свидетелем, в чьей голове помещалось многое. Тут он появился. Он вышел из сказанного, глядя с той стороны на лисицу Алик, которая опять катилась, как выпотрошенный воздух. Он видел ее и думал о Серпаче, оживающем на берегу молчания, куда он пронес, бездыханный, над стеной крокодилов, камешек бычьего сердца навстречу богине Тихет. Он уносил ей, по слову именователя, камешек сердца, которому нет числа.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>сегодня ночью</i>	11
<i>голос</i>	12
<i>ты все еще впереди!</i>	14
<i>холм</i>	15
<i>тит и хва</i>	18
<i>спешно требуется конец</i>	19
<i>расставальное</i>	21
<i>никому</i>	26
<i>вот!</i>	28
<i>зримая жизнь</i>	29
<i>на рассвете</i>	31
<i>остается</i>	33
<i>границы знания</i>	34
<i>в садах гесперид</i>	36
<i>ах ты, сидень-молодец!</i>	37
<i>очень просто</i>	38
<i>если...</i>	39
<i>свобода?</i>	40
<i>какое счастье поэты</i>	41
<i>нет и нет</i>	42
<i>но такой не сыскать</i>	43
<i>стыдеса</i>	45
<i>случай</i>	46
<i>белый квадрат</i>	47

<i>себя ли ради?</i>	48
<i>крылья с привязью</i>	49
<i>бродячий гимн наперекор и от земного до небесного</i>	50
<i>загадка</i>	51
<i>не спорю, благодарю</i>	52
<i>как бы рыцарь и кто-то всерьез</i>	53
<i>дубовое сердце</i>	55
<i>как поется</i>	56
<i>особый разговор</i>	57
<i>хлебосолье</i>	58
<i>и наконец</i>	59
 <i>прочь от холма</i>	 61
 <i>выговору</i>	 81
<i>на правах одуванчиков</i>	82
<i>надо выбраться</i>	83
<i>для невсякой ясности</i>	84
<i>время</i>	85
<i>взахлеб!</i>	86
<i>свое кровное</i>	87
<i>начистоту</i>	88
<i>слушая тревожно и весело</i>	89
<i>2000 ударов</i>	90
<i>окаянство</i>	91
<i>узко — не разминуться</i>	93
<i>любому равен</i>	94
<i>нужная пища</i>	95
<i>ночные приметы</i>	96
<i>город на ладони</i>	107
<i>твое крыло</i>	109
<i>мы видели</i>	110
<i>вечная молодость</i>	111

<i>наваждения</i>	112
<i>с левой ноги</i>	115
<i>требуется дозарезу</i>	116
<i>мелодия</i>	117
<i>ярость и тайна</i>	118
<i>называю его мельчайшим</i>	119
<i>что случилось</i>	120
<i>на собственную смерть</i>	122
<i>он</i>	123
<i>ни цветов, ни венков</i>	124
<i>и наш грассбух</i>	125
<i>мелом и грифелем</i>	126
<i>ветер корчится</i>	132
<i>о своем</i>	133
<i>не надо</i>	134
<i>в ожидании</i>	135
<i>не твоей, волна, молотилке</i>	136
<i>дорогу!</i>	138
<i>дружество</i>	139
<i>ты, соловушка</i>	140
<i>отправляю навечно</i>	141
 <i>оазис</i>	 149
<i>паутинница</i>	161
<i>облака</i>	171
 <i>повесть о безымянном карлике и камешке сердца</i>	 187

ТОГО ЖЕ АВТОРА:
ГРОЗОВАЯ ОТСРОЧКА
L'AGE D'HOMME

1978



Imprimerie «Syntaxis»

